

*Поэтический путеводитель
по Италии*



Составитель: А.В. Кузьмин

На обложке – акварель В. Сурикова «Колизей» (1900)

От составителя

«Итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов».

П.П. Муратов «Образы Италии»

Содержание

От составителя	1-2
Италия в поэзии	3-26
Рим в поэзии и прозе	27-44
Тоскана в поэзии и прозе	45-50
Венеция в поэзии и прозе	51-70
Приложение	71-79

Италия притягивает к себе внимание поэтов и писателей вот уже на протяжении более двух столетий. В предлагаемой хрестоматии отражены вершинные произведения об Италии и ее городах-жемчужинах – Риме, Сиене, Пизе, Флоренции и Венеции.

Хрестоматия состоит из четырех частей.

Первая посвящена поэтическому образу Италии в целом. Центральным текстом этой части стала четвертая глава из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Дж. Байрона – одного из первых поэтов, создавших подробный и целостный образ Италии в поэзии, а потому положившего начало «итальянского» текста мировой литературы. И действительно, если внимательно вчитываться в произведения об Италии, написанные в позднейшее время, можно провести множество параллелей с поэмой Байрона – от мельчайших образов (напр., ящериц и плюща при описании Рима) до глубочайших мифологем (напр., образ Эгерии и связанный с ним мотив пророчества). В этой же части вы найдете стихотворения русских поэтов с одинаковыми названиями – «Италия». Два из них – стихотворения Н.В. Гоголя и К. Бальмонта – очень схожи по своему настроению и содержанию: оба текста пронизаны восторженным благоговением перед Италией, образ которой складывается подобно мозаичному полотну – из мельчайших деталей, оттенков и нюансов. Несмотря на то, что стихотворения Гоголя и Бальмонта разделяет почти столетие, они отражают общую тенденцию восприятия Италии в русской поэзии – романтическую по своей природе.

Вторая часть – римская. Открывается она отрывком из повести Н.В. Гоголя «Рим», который называл этот город «родиной своей души» (невольно вспоминается байроновское определение: «Рим! Родина! Земля моей мечты»). «Рим» Гоголя писался в то время, когда русские писатели и поэты (но в первую очередь, конечно же, живописцы и скульпторы) по-настоящему открыли для себя Вечный город. Поэтому рядом с гоголевской повестью вы найдете стихотворения А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Григорьева, созданные под впечатлением от встречи с Римом в 1840-50-х гг. Римская тема будет продолжена в русской поэзии поэтами Серебряного века – на рубеже XIX-XX вв.: В. Брюсовым, Н. Гумилевым, О. Мандельштамом и, конечно, В. Ивановым, посвятившим Риму всю вторую половину своей жизни. Ведущий мотив «римского» текста как в XIX, так и в XX в. – история, которая оживает при взгляде на ее останки. Оживает и начинает говорить. «И некто дивный был и говорил со мной...»,

– так описывает свои ощущения поэт середины XIX в. Аполлон Майков. «Послушаем апостольское credo...» – вторит ему О. Манделштам.

В третьей части хрестоматии помещены «тосканские» стихотворения и эссе, большинство из которых написано А. Блоком, «безнадёжно» влюбленным, как он сам писал, в эти края. Города и природа Тосканы для Блока сакральны, божественны: «Боже мой! Розовое небо сейчас совсем погаснет. Острые башни везде, куда ни глянешь, – тонкие, легкие, как вся итальянская готика, тонкие до дерзости и такие высокие, будто метят в самое сердце бога». Или:

*В лоне площади пологой
Пробивается трава.
Месяц острый, круторогий,
Башни – свечи божества.*

Тоскана становится для Блока возвышенным символом светлого начала, которое ассоциируется и с Божьим ликом, и с красотой, и с любовью.

Наконец, четвертая часть включает в себя «венецианский» текст русской литературы. Прекрасную Венецию русские писатели и поэты воспевали чаще других городов Италии, поэтому эта часть хрестоматии самая объемная и глубокая по своему содержанию. Венеция всегда манила русского человека и оставалась для него тайной. Ведущий мотив русской венецианы – мотив отражения, наполняющий ее мерцающими смыслами, волшебными, необычными, а порой «брედовыми», по выражению И. Бродского, образами.

Хрестоматия завершается Приложением, в котором помещены задания для семинарских занятий.

Желаю всем увлекательного поэтического путешествия по чудесным краям Италии.

подобно картинам, выставленным при хорошем естественном освещении. Это относится не только к ремеслу писателя, и оратора, от которого, впрочем, требуется кое-что еще, не обязательное для того, кто пишет: хороший голос, ясный выговор, подходящие манеры и жесты, каковые, по моему мнению, заключаются в определенных движениях тела. Но во всем этом будет мало проку, если сии мысли, выраженные в словах, не будут прекрасными, умными, острыми и серьезными, как подобает.

И ежели он поведет разговор о предмете неясном, то пусть мысль свою излагает обстоятельно, подбирая точные выражения и с тщанием, но без доуки разьясняя и делая понятными те, что чревато сомнением.

2. Ответьте на вопросы:

- «Я не удивляюсь, что Вы сумели изобразить идеального придворного – писал Кастильоне один из друзей, – потому что Вам стоило лишь поставить перед собою зеркало, и вы бы увидели его там». Назовите качества «идеального придворного».
- Чем «Придворный» Кастильоне отличается от кодекса рыцарской чести, существовавшего в Средние века?
- Как в тексте отразилась эпоха?
- Можно ли провести параллели между представлениями автора об идеальном придворном и живописью, архитектурой, садово-парковым искусством того времени? Если да, то приведите примеры.

Семинар 3. Отражения Венеции

Задания

1. Прочитайте стихи и прозаические отрывки о Венеции, размещенные в хрестоматии, и ответьте на вопросы:

- В каких формах отражается Венеция в поэзии и прозе?
- Закончите фразу: *Венеция – это город.....* Что стоит за Вашим определением?
- Какими атрибутами, определениями наделяется образ Венеции в литературе?
- Какие из них наиболее созвучны Вашему восприятию Венеции?
- Менялось ли восприятие Венеции в литературе с течением времени. Если да, то как?
- Менялось ли Ваше восприятие Венеции? Если да, то как?

2. Зафиксируйте Ваше восприятие Венеции в поэтическом тексте или словесной миниатюре.

грации, если он хочет снискать то общее благорасположение, которым так дорожат.

Существует также много других упражнений, весьма способствующих воспитанию мужественной доблести. Среди них главным я считаю охоту, которая обладает определенным сходством с войной: воистину это — забава знатных синьоров, подобающая тому, кто состоит при дворе. Нужно также уметь плавать, прыгать, бегать, бросать камни, ибо это может пригодиться на войне. Этим приобретается добрая репутация, особенно во мнении толпы, с которой все же нужно считаться. Благородным и в высшей степени приличествующим Придворному упражнением является также игра в мяч, которая дает хорошую возможность судить о сложении тела, ловкости и раскованности его членов.

Итак, приобретя изрядное мастерство в этих упражнениях, наш Придворный остальным я полагаю, может пренебречь, как, например, кувырканьем на земле, лазанием по канату и тому подобным, что скорее сродни скоморошеству чем пристало дворянину. Но поскольку невозможно все время предаваться этим столь утомительным занятиям пусть Придворный иной раз снисходит до более спокойных и мирных развлечений и, дабы не возбуждать к себе недоброжелательства и держаться с каждым любезно, делает все то, делают другие, не совершая, однако, ничего предосудительного. Пусть он шутит, смеется, острит, танцует и пляшет; и при этом всегда будет искусен и благоразумен; и во всем, что бы он не делал или не говорил, пусть будет грациозен.

...Кто захочет стать прилежным учеником, пусть не только все делает хорошо, но и постоянно прилагает всякое старание, чтобы уподобиться наставнику и, если это окажется возможным, преобразиться в него. И когда он почувствует, что уже преуспел, то ему было бы очень на пользу понаблюдать разных людей соответствующего рода деятельности руководствуясь тем здравомыслием, которого ему всегда следует держаться, перенимать у этих одно, у тех другое.

...Ведь отделять мысли от слов то же, что отделять душу от тела: ни в одном, ни в другом случае это невозможно сделать без потерь. Словом, чтобы хорошо изъясняться и писать, прежде всего, полагаю я, важна и необходима мысль; у кого за душой нет мысли, которая заслуживала бы внимания, тот не в состоянии ни сказать ничего, ни написать. Далее нужно расположить в правильном порядке то, о чем предстоит говорить и писать; и затем хорошо выразить в словах, которые, если я не ошибаюсь, должны быть точны, изысканны, красивы и складны, но прежде всего — употребляемы также в народной среде. Ибо слова придают речи пышность и величие, если говорящий продемонстрирует хороший вкус и старание и сумеет подобрать наиболее способные выразить его мысль, выделить оные и, лепя их, как воск, по своему усмотрению, разместить в таком порядке, чтобы они сразу обнаруживали доходчиво и красоту свою,

Италия в поэзии

Джордж Гордон Байрон
Паломничество Чайльд-Гарольда
 (пер. В. Левика)

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

1

Не ты ль слыла небесной в древнем мире,
 О Муза, дочь Поэзии земной,
 И не тебя ль бесчестили на лире
 Все рифмачи преступною рукой!
 Да не посмею твой смутить покой!
 Хоть был я в Дельфах, слушал, как в пустыне
 Твой ключ звенит серебряной волной,
 Простой рассказ мой начиная ныне,
 Я не дерзну звать о помощи к богине.

2

Жил в Альбионе юноша. Свой век
 Он посвящал лишь развлечениям праздным,
 В безумной жажде радостей и нег
 Распутством не гнушаясь безобразным,
 Душою предан низменным соблазнам,
 Но чужд равно и чести и стыду,
 Он в мире возлюбил многообразном,
 Увы! лишь кратких связей череду
 Да собутыльников веселую орду.

3

Он звался Чайльд-Гарольд. Не все равно ли.
 Каким он вел блестящим предкам счет!
 Хоть и в гражданстве, и на бранном поле
 Они снискали славу и почет,
 Но осрамит и самый лучший род
 Один бездельник, развращенный ленью,
 Тут не поможет ворох льстивых од,
 И не придашь, хвалясь фамильной сенью,
 Пороку – чистоту, невинность – преступленью.

4

Вступая в девятнадцатый свой год,
 Как мотылек, резвился он, порхая,
 Не помышлял о том, что день пройдет –

выглядеть и таковыми, то с ними и обходиться надо не как с почтенными женщинами, но как с продажными блудницами, не допуская ко дворам государей и благородное общество.

Что касается фигуры, то она не должна быть ни слишком крупной, ни слишком маленькой; поскольку и то и другое вызывает брезгливое недоумение, и на людей подобного телосложения взирают словно на каких-то уродов. Однако если уж не избежать одного из этих недостатков, то лучше быть несколько меньшего роста, нежели намного превосходить разумную меру. Ибо люди крупного телосложения, кроме того что весьма часто тупоумны, оказываются также негодными для любого дела, требующего ловкости: а я очень хочу, чтобы Придворный обладал такого рода способностями. Посему мне бы хотелось, чтобы тело его было хорошо сложено и во всех частях хорошо развито, и сам он выказывал силу, проворство и ловкость, освоив все физические упражнения, неизменные для воина, во-первых, полагаю, он должен хорошо владеть любым оружием для пешего и для конного боя.

Полагаю также, что крайне важно для него было бы овладеть искусством борьбы, весьма необходимым в любых пеших схватках. Затем нужно, чтобы он был сведущ в недоразумениях и ссорах, которые могут задеть самого или друзей, и знал, как поступать, неизменно выказывая совершенное присутствие духа и благоразумие. И пусть он решает дело поединком только в тех случаях, когда к этому вынуждает честь; ибо — не говоря о громадной опасности, которой подвергает неверная судьба, — кто необдуманно, без достаточной на то причины прибегает к дуэли, тот заслуживает величайшего порицания, даже если ему повезет. Но если дело зашло так далеко, что, не навлекая на себя позора, его нельзя прекратить, действовать следует самым решительным образом и в переговорах перед поединком, и во время самого поединка, всегда обнаруживая готовность и бесстрашие.

Оружие находит также применение и в мирное время, когда прилюдно, на глазах народа, дам и знатных синьоров дворяне состязаются в различных упражнениях. Поэтому я и хочу, чтобы наш Придворный был прекрасным наездником. И пусть он не только знает толк в том, что относится к искусству верховой езды, но и всеми силами стремится в любом деле быть несколько впереди других, так чтобы всегда слыть никем не превзойденным. Пусть наш Придворный опережает других и каждого в том, чем тот предпочитает заниматься. И поскольку у итальянцев особо ценится умение хорошо скакать верхом с поводьями, объезжать лошадей, особенно норовистых, биться на копыях и сражаться в поединках — пусть в этом он будет между их итальянцев; в турнирных боях, в обороне и нападении — пусть славится между лучшими из французов; в состязаниях с копыями на ловкость, поединке с быком, метании пик и дротиков — пусть будет знаменит среди испанцев. Но прежде всего пусть каждое его действие будет исполнено верного такта и

степени тактичным и достоин также похвал от других.

Здесь синьор Гаспаро сказал:

— Вы должны нас научить этому.

— Нет недостатка в древних авторах, — ответил Граф. По моему убеждению, все дело в умении рассказать вещи таким образом, чтобы не создавалось впечатление, будто о них говорится с целью похвалить себя, но оттого лишь, что невозможно не упомянуть их, — и, постоянно выказывая намеренно избегать хвалы в свой адрес, тем не менее ее высказывать; однако не как те молодцы, которые, открывая рот, несут всякий вздор. Вроде одного, из наших знакомых, который несколько дней тому назад в Пизе, когда ему копьем насквозь пронзили бедро, сказал, что думал, будто это муха укусила его; а другой заявил, что не держит зеркала в комнате, ибо, когда злится, то так страшно меняется в лице, что от собственного вида может очень перепугаться и сам.

Кому суждены великие дела, должен иметь решимость их осуществить, веру в себя и дух не низкий и не подлый, но в речах сдержанность, и обнаруживать не такую самоуверенность какова есть в действительности, дабы его высокое мнение о себе не перешло бы в безрассудство.

Здесь Граф сделал небольшую паузу, и мессер Бернардо Библиена засмеявшись сказал:

— Припоминаю, как прежде вы говорили, что этот наш Придворный должен быть от природы наделен красивым лицом и осанкой, а также грацией делающей его весьма привлекательным. Для меня бесспорно то, что я обладаю грацией и красивым лицом, отчего все дамы, которых вы знаете, пылают ко мне любовью; относительно фигуры я так не уверен, в особенности что касается моих ног, которые, по правде говоря, не кажутся толь совершенными, как я бы хотел; торсом же и остальным я вполне доволен. Расскажите несколько подробнее о фигуре, какой она должна быть, дабы я мог избавиться от сомнений и жить со спокойной душой.

После того, как над этими словами немного посмеялись, Граф продолжал:

— Конечно, без преувеличения можно утверждать, что вы обладаете грациозностью, и мне не надо давать никакого другого примера. Ибо, без всяких сомнений, ваш облик чрезвычайно приятен и нравится каждому, пусть даже черты его не очень тонки; в нём мужская стать, и все же он грациозен. И это качество можно обнаружить во многих лицах самых разных типов. И я хочу, чтобы облик нашего Придворного был подобного типа, то есть не такой изнеженный и женственный, какой стараются иметь многие, не только завивая себе волосы и выщипывая брови, но и прихорашиваясь всеми теми способами, которыми пользуются самые бесстыдные и порочные женщины, а речи ведут такие печальные, что кажется, будто в этот самый момент они испускают дух. Поскольку природа не создала их женщинами, вопреки их явному желанию

И холодом повеет тьма ночная.
Но вдруг, в расцвете жизненного мая,
Заговорило пресыщенье в нем,
Болезнь ума и сердца роковая,
И показалось мерзким все кругом:
Тюрьмою – родина, могилой – отчий дом.

5

Он совести не знал укоров строгих
И слепо шел дорогою страстей.
Любил одну – прельщал любовью многих,
Любил – и не назвал ее своей.
И благо ускользнувшей от сетей
Развратника, что, близ жены скучая,
Бежал бы вновь на буйный пир друзей
И, все, что взял приданым, расточая,
Чуждался б радостей супружеского рая.

6

Но в сердце Чайльд глухую боль унес,
И наслаждений жажда в нем остыла,
И часто блеск его внезапных слез
Лишь гордость возмущенная гасила.
Меж тем тоски язвительная сила
Звала покинуть край, где вырос он, –
Чужих небес приветствовать светила;
Он звал печаль, весельем пресыщен,
Готов был в ад бежать, но бросить Альбион.

7

И в жажде новых мест Гарольд умчался,
Покинув свой почтенный старый дом,
Что сумрачной громадой возвышался,
Весь почерневший и покрытый мхом.
Назад лет сто он был монастырем,
И ныне там плясали, пели, пили,
Совсем как в оны дни, когда тайком,
Как повествуют нам седые были,
Святые пастыри с красотками кутили.

8

Но часто в блеске, в шуме людных зал
 Лицо Гарольда муку выражало.
 Отвергнутую страсть он вспоминал
 Иль чувствовал вражды смертельной жало -
 Ничье живое сердце не узнало.
 Ни с кем не вел он дружеских бесед.
 Когда смятенье душу омрачало,
 В часы раздумий, в дни сердечных бед
 Презреньем он встречал сочувственный совет.

9

И в мире был он одинок. Хоть многих
 Поил он щедро за столом своим,
 Он знал их, прихлебателей убогих,
 Друзей на час – он ведал цену им.
 И женщинами не был он любим.
 Но боже мой, какая не сдается,
 Когда мы блеск и роскошь ей сулим!
 Так мотылек на яркий свет несется,
 И плачет ангел там, где сатана смеется.

10

У Чайльда мать была, но наш герой,
 Собравшись бурной ввериться стихии,
 Ни с ней не попрощался, ни с сестрой –
 Единственной подругой в дни былые.
 Ни близкие не знали, ни родные,
 Что едет он. Но то не черствость, нет,
 Хоть отчий дом он покидал впервые.
 Уже он знал, что сердце много лет
 Хранит прощальных слез неизгладимый лед.

12

Дул свежий бриз, шумели паруса,
 Все дальше в море судно уходило,
 Бледнела скал прибрежных полоса,
 И вскоре их пространство поглотило.
 Быть может, сердце Чайльда и грустило,
 Что повлеклось в неведомый простор,
 Но слез не лил он, не вздыхал уныло,
 Как спутники, чей увлажненный взор,
 Казалось, обращал к ветрам немой укор.

исполняют свой долг. А в делах малозначительных когда они видят, что незаметно для других могут уклониться от опасности, они охотно устраиваются в надежном месте. Но те, кто, даже полагая, что их никто не наблюдает, или не видит, или не знает, проявляют отвагу и не оставляют ни малейшего повода для упрека, — они обладают тем самым доблестным духом, который мы ищем в нашем Придворном.

Мы не желаем, однако, чтобы он держал себя надменно, все время бравирова словами вроде «броня — моя жена» и бросая вызывающе дерзкие взгляды. К подобным людям вполне подходят слова, остроумно адресованные одной достойной дамой в благородном обществе некоему синьору, которого называть по имени теперь я не стану; оказывая ему честь, она его пригласила танцевать, но он отказался от этого, а также от предложения по слушать музыку и от многих других развлечений и все повторял, что эти безделицы — не его занятие; дама наконец не выдержала:

— Какое же занятие ваше? Он ответил:

— Война.

Дама сразу нашлась что сказать:

— Поскольку, я полагаю, нынче вы не на войне и не собираетесь сражаться, то было бы прекрасно, если бы вы велели хорошенько себя смазать и вместе со всеми вашими воинскими доспехами и упрягать в чулан до той поры, пока в вас не будет нужды, дабы не покрыться ржавыми пятнами еще сильнее, чем сейчас.

Так, срезав его под громкий смех окружающих, она оставила его со своим глупым самомнением. Словом, пусть будет тот, исканием кого мы заняты, суровым, смелым и всегда среди первых тогда, когда предстоит иметь дело с врагами; в любых же других обстоятельствах — человечным, скромным, сдержанным, избегающим более всего чванливости и бесстыдного самохвальства, что всегда вызывает в слушателях чувство неприязни и отвращения.

На это синьор Гаспаро ответил:

— Я знал очень немногих людей чем-либо выдающихся, которые не восхваляли бы самих себя; а мне кажется, что с их стороны это было вполне допустимо. Ведь кто знает свои заслуги и при этом видит, что дела его не известны невеждам, тот не может смириться с тем, что доблесть его пребывала в забвении. Оттого и среди весьма именитых редко кто выдерживал, чтобы не похвалить самого себя.

Тогда Граф сказал:

— Как вы поняли, я порицал бесстыдное и безоглядное самохвальство и, конечно, вы правы, нельзя дурно думать о доблестном человеке, который хвалит себя умеренно; наоборот, в этом случае следует доверять похвале более, нежели если бы она была произнесена другими. Скажу; кто умеет похвалить себя, не погрешая против истины, не вызывая раздражения и зависти у слушающих, тот является человеком в высшей

главная — фортуна. Ибо мы можем видеть, как она управляет всеми земными делами и, но забавляясь, весьма часто возносит до небес того, кто ей приглянется; хотя бы он и не имел никаких достоинств, и низвергает в пропасть наиболее достойных возвышения. Я вполне согласен с вашими словами о счастье тех, которые рождаются наделенными благами души и тела: но это мы можем видеть как в благородных, так и в неблагородных. Поэтому, раз это благородство не добывается ни умом, ни энергией, ни искусством, будучи скорее славой наших предков, чем нашей собственной, мне представляется весьма нелепым утверждение, будто если родители нашего Придворного неблагородные, то все его добрые качества недействительны и все другие названные вами условия недостаточны, чтобы привести его к вершине совершенства: то есть ум, красивое лицо, хорошая осанка и та грация, которая с первого же взгляда неизменно делает его любезным всякому.

Граф Лодовико на то ответил:

— Я не отрицаю, что в людях низкого звания могут быть те же добродетели, что и в благородных: но имея задание вылепить Придворного у которого не было бы ни единого изъяна, но только всевозможные похвальные свойства, мне представляется необходимым сделать его благородным, как по многим другим причинам, так и из-за общепринятого мнения, отдающего предпочтение родовитости. Вот, например, два царедворца, которые не успели проявить себя ничем, ни хорошим, ни дурным; как только станет известно, что один родился дворянином, а другой нет, первого будут ценить больше, чем второго, которому потребуется много времени и трудов, дабы внушить людям хорошее мнение о себе.

... Если же перевести разговор на конкретные вещи, то, по моему мнению, настоящим призванием Придворного должно быть военное дело, и пусть к нему он проявляет особенное рвение и среди других слышет человеком отважным, решительным и верным тому, кому служит. И этими доблестными качествами он прославится всегда и везде; и нельзя ими когда поступаться, дабы не навлечь на себя величайший позор. Как у женщин целомудрие, однажды оскверненное, более уже невозвратимо, так и репутация дворянина, который носит оружие, будучи единожды бы в ничтожной мере запятнана трусостью или каким-либо другим недостойным поступком, навсегда останется в глазах света покрытой позором и бесчестьем. Словом, чем более совершенства выкажет наш Придворный в военном искусстве, тем более он будет достоин одобрения.

Для нас будет достаточно если он всегда будет неподкупно верным и неустрашимо отважным. Ибо нередко отважные узнаются скорее в делах незначительных, нежели в больших. Бывает, что в опасный момент, важность коего привлекает внимание многих наблюдателей, находятся люди, которые, хотя сердце у них замерло от страха то ли за компанию, то ли боясь осрамиться, сломя голову бросаются вперед и, Бог знает как,

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Visto ho Toscana, Lombardia, Romagna,
Qliel monte che divide, e qiuel chi serra
Italia, e lift mare e l'altro, che la bagna.
Ariosto, Satira III*

* Я видел Тоскану, Ломбардию, Романью, те горы, что разрезают Италию надвое, и те что отгораживают ее, и оба моря, которые омывают ее. — Ариосто, Сатира III (итал.).

<...>

1

В Венеции на Ponte dei Sospiri,
Где супротив дворца стоит тюрьма,
Где — зрелище единственное в мире! —
Из волн встают и храмы и дома,
Там бьет крылом История сама,
И, догорая, рдеет солнце Славы
Над красотой, сводящею с ума,
Над Марком, чей, доныне величайый,
Лев перестал страшить и малые державы.

2

Морей царица, в башенном венце,
Из теплых вод, как Анадиомена,
С улыбкой превосходства на лице
Она взошла, прекрасна и надменна.
Ее принцессы принимали вено
Покорных стран, и сказочный Восток
В полу ей сыпал все, что драгоценно.
И сильный князь, как маленький князек,
На пир к ней позванный, гордиться честью мог.

3

Но смолк напев Торкватовых октав,
И песня гондольера отзвучала,
Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав,
И не тревожит лютого сон канала.
Лишь красота Природы не увяла.
Искусства гибели, царства отцвели,
Но для веков отчизна карнавала
Осталась, как мираж в пустой дали,
Лицом Италии и празднеством Земли.

11

Тоскует Адриатика-вдова:
Где дож, где свадьбы праздник ежегодный?
Как символ безутешного вдовства
Ржавеет «Буцентавр», уже негодный.
Лев Марка стал насмешкою бесплодной
Над славою, влачащейся в пыли,
Над площадью, где, папе неугодный,
Склонился император и несли
Дары Венеции земные короли.

14

Ей был, как Тиру, дан великий взлет,
И даже в кличке выражена сила:
«Рассадник львов» прозвал ее народ –
За то, что флаг по всем морям носила,
Что от Европы турок отразила.
О древний Крит, великой Трои брат!
В твоих волнах – ее врагов могила.
Лепанто, помнишь схватку двух армад?
Ни время, ни тиран тех битв не умалят.

15

Но статуи стеклянные разбиты,
Блистательные дожи спят в гробах,
Лишь говорит дворец их знаменитый
О празднествах, соборных и пирах.
Чужим покорен меч, внушавший страх,
И каждый дом – как прошлого гробница.
На площадях, на улицах, мостах
Напоминают чужеземцев лица,
Что в тягостном плену Венеция томится.

17

Венеция! Не в память старины,
Не за дела, свершенные когда-то,
Нет, цепи рабства снять с тебя должны
Уже за то, что и доньше свято
Ты чтить, ты помнишь своего Торквато.
Стыд нациям! Но Англии - двойной!
Морей царица! Как сестру или брата,
Дитя морей своим щитом укрой.
Ее закат настал, но далеко ли твой?

пребывает потаенной, а я не претендую на обладание знанием в этой области, то я могу хвалить только тот тип придворных, который я ставлю выше, и одобрять того, кто, согласно моему разумению, представляется мне наиболее похожим на истинного [Придворного]. Если вы его найдете хорошим, вы последуете за ним; или же останетесь при своем, если он будет отличным от моего. И я совсем не буду настаивать на том, что мой лучше вашего; ибо не только вам может представляться одно, а мне другое, но даже мне самому может сейчас представляться одно, завтра другое.

Итак, я хочу, чтобы наш Придворный был бы по происхождению дворянином и хорошего рода. Если человек незнатный пренебрегает трудами добродетели, он заслуживает гораздо меньшего осуждения, чем если нечто подобное случится с благородным, который, покидая стезю своих предков, пятнает родовое имя и не только ничего не приобретает, но еще теряет уже приобретенное. Ибо знатность — словно некий яркий светоч, который обнаруживает и заставляет видеть дела хорошие и дурные, воспламеняет и побуждает к добродетели одинаково — боязнь беславия и надеждой на похвалу. А поскольку этот блеск благородства не озаряет деяния незнатных, они не имеют ни поощрения, ни страха беславия и не видят себя обязанными идти дальше того, что совершили их предки. Знатные же считают зазорным не достичь хотя бы того предела, что указан им их предками.

Но, возвращаясь к нашей теме, замечу, что между такой совершенной грацией и немыслимой глупостью есть нечто среднее; и те, кто от природы не наделены великими достоинствами, могут трудом и старанием сгладить и выправить значительную часть естественных недостатков. Итак, помимо благородного происхождения я хочу, чтобы Придворный и в этом отношении не был бы обделен судьбой, то есть имел бы с природы не только ум, красивые осанку и лицо, но и некую грацию и, как говорят, породистость, что с первого взгляда делало бы его приятным любезным всякому. И пусть это будет украшением, которым исполнены пронизаны все его действия, и очевидным признаком того, что человек сей достоин общества и милости любого великого государя.

— Дабы не создалось впечатление, будто мы мало ценим данное нам право возражать, скажу, что мне кажется благородство не столь уж обязательным для Придворного. Пожелай я сказать что-то для всех нас новое, я бы назвал других, кто, будучи благороднейших кровей, исполнен всяческих пороков: наоборот, многих незнатных, кто добродетельно прославил свое потомство. И если верно, о чем вы говорили, то есть что в каждой вещи заложена таинственная сила первого семени, то мы были бы в совершенно одинаковом положении, ибо произошли от общего предка; поэтому один не мог бы быть благороднее другого. По-моему, есть много других причин, которые создают различия между ними, отчего у одного более высокое, а у другого более низкое звание; между ними, полагаю,

Семинар 1. Встреча с Вечным городом

Задания

1. Прочитайте отрывок из повести Н.В. Гоголя «Рим» и ответьте на вопросы:

- Как воспринимает Рим герой Гоголя? Что выхватывает его взгляд? Какие чувства он при этом испытывает?
- Что испытали Вы при встрече с Римом? Было ли это похоже на переживания гоголевского героя?
- Какими атрибутами, определениями наделяется Рим в повести Гоголя? Каковы доминирующие цвета, глаголы?
- Каковы архетипы римского пространства, описанного Гоголем?
- В чем особенность римского пейзажа у Гоголя? Насколько гоголевский пейзаж соответствует тому, что увидели Вы?

2. Зафиксируйте Ваше восприятие Рима в поэтическом тексте или словесной миниатюре.

Семинар 2. Книга диалогов Бальдассаре Кастильоне «О придворном»

Задания

1. Прочитайте отрывок из книги диалогов Б. Кастильоне «О придворном» (1524):

«Граф ответил:

— Я не хочу походить на того, кто, раздевшись до сорочки, начинает прыгать хуже, чем он это делал в камзоле. Я нахожу очень удачным, что час поздний, ибо краткость времени заставит меня говорить сжато, а неподготовленность будет служить мне извинением, и я смогу, не навлекая осуждения, сказать все, что первым придет мне на ум.

Итак, дабы на мне не висела долее сия обременительная обязанность, скажу, что трудно, почти что невозможно, постичь истинное совершенство какой-либо вещи; и причиной этому разнообразие суждений. Ибо одним будет приятен разговорчивый человек, и они его назовут любезным; другим же больше по нраву сдержанность; одним приятен человек деятельный и непоседливый; другим — тот, кто во всем проявляет спокойствие и рассудительность. Словом, каждый хулит или хвалит, как ему заблагорассудится, скрывая порок под именем сходной с ним добродетели или добродетель — под именем сходного с нею порока; самонадеянного называют независимым, черствого — сдержанным, недотепу — добряком, коварного — умным, и так далее. Все же я полагаю, в каждой вещи есть свое совершенство, хотя бы сокрытое, и оно может быть обнаружено разумным рассуждением всякого, кто имеет понятие об этой самой вещи. Поскольку, как я сказал, истина часто

18

Венецию любил я с детских дней,
Она была моей души кумиром,
И в чудный град, рожденный из зыбей,
Воспетый Радклиф, Шиллером, Шекспиром,
Всецело веря их высоким лирам,
Стремился я, хотя не знал его.
Но в бедствиях, почти забытый миром,
Он сердцу стал еще родней того,
Который был как свет, как жизнь, как волшебство!

19

Я вызываю тени прошлых лет,
Я узнаю, Венеция, твой гений,
Я нахожу во всем живой предмет
Для новых чувств и новых размышлений,
Я словно жил в твоей поре весенней,
И эти дни вошли в тот светлый ряд
Ничем не истребимых впечатлений,
Чей каждый звук, и цвет, и аромат
Поддерживает жизнь в душе, прошедшей ад.

26

Республика царей – иль граждан Рима!
Италия, осталась прежней ты,
Искусством и Природою любима,
Земной эдем, обитель красоты,
Где сорняки прекрасны, как цветы,
Где благодатны, как сады, пустыни,
В самом паденье – дивный край мечты,
Где безупречность форм в любой руине
Бессмертной прелестью пленяет мир донныне.

48

Но вот нас манит мраморами Арно.
В Этрурии наследницу Афин
Приветствовать мы рады благодарно,
Среди холмов зеленых, и долин,
Зерна, и винограда, и маслин,
Среди природы щедрой и здоровой,
Где жизнь обильна, где неведом сплин,
И к роскоши привел расцвет торговый,
Зарю наук воззвав из тьмы средневековой.

49

Любви богиня силой красоты
Здесь каждый камень дивно оживила,
И сам бессмертью причастишься ты,
Когда тебя радушно примет вилла,
Где мощь искусства небо нам открыла
Языческой гармонией резца,
Которой и природа уступила,
Признав победу древнего творца,
Что создал идеал и тела и лица.

50

Ты смотришь, ты не в силах с ней проститься,
Ты к ней пришел – и нет пути назад!
В цепях за триумфальной колесницей
Искусства следуй, ибо в плен ты взят.
Но этот плен, о, как ему ты рад!
На что здесь толки, споры, словопренья,
Педантства и бессмыслицы парад!
Нам голос мысли, чувства, крови, зренья
Твердит, что прав Парис и лишни заверенья.

54

В священном Санта-Кроче есть гробницы,
Чьей славой Рим тысячекратно свят.
И пусть ничто в веках не сохранится
От мощи, обреченной на распад,
Они его бессмертье отстоят.
Там звездный Галилей в одном приделе,
В другом же, рядом с Альфиери, спят
Буонаротти и Макиавелли,
Отдав свой прах земле, им давшей колыбели.

55

Они бы, как стихии, вчетвером
Весь мир создать могли. Промчатся годы,
И может рухнуть царственный твой дом,
Италия! Но волею Природы
Гигантов равных не дали народы,
Царящие огнем своих армад.
И, как твои ни обветшали своды,
Их зори Возрожденья золотят,
И дал Канову твой божественный закат.

Приложение

(материалы к семинарам)

над башнями Сан Джиминьяно. Дело любого итальянского ремесленника полно той же мажорной нотой, которой звучит гений Палладио. Вкус всей палитры Тициана не повторяет ли сладостная свежесть желтых плодов и виноградность слегка кипучего Вальполичелла! Нет низменного в Италии, кроме того, что навязано ей чужими. Меланхолические вздыхатели о прошедшем, паломники исторических кладбищ лишь крадут ее гостеприимство.

Ценой неизбежных ломок и перемен нынешняя Италия приобретает свое право жить настоящим. Ощущение ее вечной жизненной стихии - вот то, что составляет истинный смысл итальянского путешествия. Венеция и Рим не музеи и не театральные декорации, не кладбища эпох и не архивы человечества. Латинская столица ждет новых вселенских предназначений; лагунный город не перестает отправлять корабли всюду, где однажды поднял в знак владычества лапу мраморный лев Сан Марко.

Тому, кто верно любит Италию, обыкновенный венецианский *varopetto* не менее дорог, чем удивительная гондола. Великолепный холод Уффиций и жар простых сельских дорог Сеттиньяно и Фьезоле соединяются в нашей мечте. Не римские легионы, шествующие по *Via Appia*, но поезда, бегущие в пространствах Кампаньи, преследуют наше действительное воображение. Своей ногой ступал я однажды на камни Испанской лестницы, своим лицом чувствуя горячие веяния сирокко! Своей рукой срывал розы на склонах Монте Берико, в оградах палладианских вилл и своими пальцами ощущал тонкую пыль, осевшую на тяжелых гроздьях в виноградниках Поджибонси или Ашьяно!

Свой опыт, движения своей жизни в жизненной стихии Италии, освобождение новых душевных сил, рождение новых способностей, умножение новых желаний мы называем так много говорящим именем итальянского путешествия. Совершенное во времени и в пространстве, пролегает оно и в недрах нашего существа, в глубинах души вычерчивая свой ослепительный круг. Мы возвращаемся из Италии с новым мироощущением слиянности начал и концов, единства истории и современности, неразрывности личного и всемирного, правды вечного круговорота вещей, более древней правды, чем скудная идея прогресса...

«Торино» ушел ночью, и утром я долго глядел со странным чувством на то место водной поверхности, где накануне покоился он, заманчиво сверкая белыми электрическими огнями, не нарушая нескромным шумом венецианской тишины. Было ли это предчувствие, что мне не суждено увидеть новые страны, сказочные и необыкновенные? Пусть будет так, но пусть совершится данный мной в ту минуту обет – возвратиться в Италию еще более верным ей и ею освобожденным, – увидеть снова тихий блеск венецианской лагуны и в круге ее горизонта заключить свои дни.

56

Но где ж, Тоскана, где три брата кровных?
Где Дант, Петрарка? Горек твой ответ!
Где тот рассказчик ста новелл любовных,
Что в прозе был пленительный поэт?
Иль потому он так пропал, их след,
Что Смерть, как Жизнь, от нас их отделила?
На родине им даже бюстов нет!
Иль мрамора в Тоскане не хватило,
Чтобы Флоренция сынов своих почтила?

57

Неблагодарный город! Где твой стыд?
Как Сципион, храним чужою сенью,
Изгнанник твой, вдали твой Данте спит,
Хоть внуки всех причастных преступленью
Прощенья молят пред великой тенью.
И лавр носил Петрарка не родной –
Он, обучивший сладостному пенью
Всех европейских бардов, – он не твой,
Хотя ограблен был, как и рожден, тобой.

58

Тебе Боккаччо завещал свой прах,
Но в Пантеоне ль мастер несравненный?
Напомнит ли хоть реквием в церквах,
Что он возвел язык обыкновенный
В Поэзию – мелодию сирены?
Он мавзолея славы заслужил,
Но и надгробье снял ханжа презренный,
И гению нет места средь могил,
Чтобы и вздохом тень прохожий не почтил.

59

Да, в Санта-Кроче величайших нет.
Но что с того? Не так ли в Древнем Риме,
Когда на имя Брута лег запрет,
Лишь слава Брута стала ощутимей.
И Данте сон валами крепостными
Равенна благодарная хранит.
И в Аркуа кустами роз живыми
Певца Лауры смертный холм увит.
Лишь мать-Флоренция об изгнанных скорбит.

60

Так пусть вельможам, герцогам-купцам
 Воздвиглись пирамиды из агата,
 Порфира, яшмы, – это льстит глупцам!
 Когда роса ложится в час заката
 Иль веет ночь дыханьем аромата
 На дерн могильный – вот он, мавзолей
 Титанам, уходящим без возврата.
 Насколько он прекрасней и теплей
 Роскошных мраморов над прахом королей!

61

Скульптура вместе с радужной сестрой
 Собор над Арно в чудо превратила.
 Я свято чту искусств высокий строй,
 Но сердцу все ж иное чудо мило:
 Природа – море, облака, светила;
 Я рад воспеть шедевры галерей,
 Но даже то, что взор мой поразило,
 Не рвется песней из души моей.
 Есть мир совсем иной, где мой клинок верней.

78

Рим! Родина! Земля моей мечты!
 Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали,
 Взгляни на мать погибших царств – и ты
 Поймешь, как жалки все твои печали.
 Молчи о них! Пройди на Тибр и дале,
 Меж кипарисов, где сова кричит,
 Где цирки, храмы, троны отблестали,
 И однодневных не считай обид:
 Здесь мир, огромный мир в пыли веков лежит.

79

О Древний Рим! Лишенный древних прав,
 Как Ниобея – без детей, без трона,
 Стоишь ты молча, свой же кенотаф.
 Останков нет в гробнице Сципиона,
 Как нет могил, где спал во время оно
 Прах сыновей твоих и дочерей.
 Лишь мутный Тибр струится неуклонно
 Вдоль мраморов безлюдных пустырей.
 Встань, желтая волна, и скорбь веков залей!

П.П. Муратов «Образы Италии»

Эпилог

Из окон маленького итальянского альберго на Рива дельи Скьявони я видел во все часы дня и ночи пароход, готовый к отплытию в Пирей и Константинополь. В жаркие летние вечера «Торино» заманчиво светился внутри белыми электрическими огнями. Темная масса его, лежавшая в bacino San Marco, не нарушала каким-либо нескромным шумом венецианской тишины. Я колебался в выборе возвратного пути. «Торино» искушал меня обещаниями открыть со своей палубы видение греческих берегов и морей Леванта. Венеция обращена своим лицом на восток. Для нас, русских, остается она, естественно, первым и последним этапом итальянского путешествия. Нигде не ощущаешь с такой силой тоску о неповторимости своих прежних странствий вместе с жаждою новых и неизведанных.

...Увидеть снова Италию – для скольких не сбылось и не сбудется это желание! Для скольких, однако, запечатлелись в образах Италии все образы божества, природы и человека. Итальянское путешествие должно быть одним из решительных душевных опытов. Достоинство совершивший его не тем садится в немецкий вагон, каким вступил он впервые на каменные полы Венеции. Частицу Италии он уносит с собой в свои эпически нищие или буднично-благополучные земли и там, под небом суровым или опустошенным, иначе радуется, иначе грустит и иначе любит.

Есть страны необыкновеннее, пейзажи разительнее, есть древние миры, полные несказанного величия искусств и словесных преданий. Пологие холмы Тосканы сравнятся ли с кристаллическими горами Аттики и равнины римской Кампаньи с пустынями Египта? Италия, давно открытая чужеземному любопытству, принявшая в своем обиходе весь облик поверхностной цивилизации, предложит ли она искателю острых и живописных черт то, что даст ему Кастилия и Андалузия?

Не театр трагический или sentimentalный, не книга воспоминаний, не источник экзотических ощущений, но родной дом нашей души, живая страница нашей жизни, биение сердца, взволнованного великим и малым, такова Италия, и в этом ничто не может сравниться с ней. Никакими своими зрелищами, никакими чудесами своих искусств она не ослепляет и не оглушает нас. Она не подавляет никого и не вступает в противоборствования с внутренним существом современного человека. Ни одного мгновения не заставляет она нас испытывать оторванности от мира, пусть удивительного, но чуждого и замкнутого в себе. Щедрая и великодушная, она приемлет нас, вливает нам в душу медленными притоками свою мудрость и красоту, меняет постепенно первичную ткань нашего бытия, и мы произрастаем вместе с ней неприметно для самих себя, пока не скажет о том живая боль разлуки.

В Италии все важно для нас и драгоценно. Одни и те же ритмы управляют рельефами Донателло и уличной жизнью флорентийского вечера. Колокола Ave Maria звучат в золоте старого сьенского мастера и в сегодняшнем закате

Венеция есть возлюбленная глаза. После него все разочаровывает. Слеза есть предвосхищение того, что ждет глаз в будущем.

* * *

Ночь была холодная, лунная, тихая. В гондоле нас было пятеро... Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами, пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф или на анфиладу необитаемых гротов. Это было необычное ощущение: двигаться по тому, поверх чего привык смотреть, – по каналам; как будто прибавилось еще одно измерение. Наконец, мы выскользнули в Лагуну и взяли курс к Острову мертвых, к Сан-Микеле. Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. <...> Мы обогнули Остров мертвых и направились обратно к Канареджо³. Церкви, я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь; по крайней мере Мадонна делл'Орто – не столько потому, что ночь – самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной Мадонны Беллини с Младенцем. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, на дюйм, отделяющий Ее левую ладонь от подошвы Младенца. Этот дюйм – и – гораздо меньше! – и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был закрыт, и мы проследовали по тоннелю гротов, по этому плоскому, освещенному лунной штреку Пиранезе с редкими искрами электрической руды, к сердцу города. Что ж, теперь я знал, что чувствует вода, ласкаемая водой.

* * *

Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

ноябрь 1989

* Перевод с английского Г. Дашевского

* Перевод заглавия: Набережная неисцелимых (ит.).

¹ Тупик (фр.).

² Направо, налево, прямо, прямо (ит.).

³ Название моста, набережной и канала в Венеции.

80

Пожары, войны, бунты, гунн и гот, –
О, смерч над семихолмной столицей!
И Рим слабел, и грянул страшный год:
Где шли в цепях, бывало, вереницей
Цари за триумфальной колесницей,
Там варвар стал надменной пятой
На Капитолий. Мрачною гробницей
Простерся Рим, пустынный и немой.
Кто скажет: «Он был здесь», – когда двойною тьмой,

81

Двойною тьмой – незнанья и столетий
Закрыт его гигантский силуэт,
И мы идем на ощупь в бледном свете;
Есть карты мира, карты звезд, планет,
Познание идет путем побед,
Но Рим лежит неведомой пустыней,
Где только память пролагает след.
Мы «Эврика!» кричим подчас и ныне,
Но то пустой мираж, подсказка стертых линий.

82

О Рим! Не ты ль изведал торжество
Трехсот триумфов! В некий день священный
Не твой ли Брут вонзил кинжал в того,
Кто стать мечтал диктатором вселенной!
Тит Ливий, да Вергилий вдохновенный,
Да Цицерон – в них воскресает Рим.
Все остальное – прах и пепел бренный,
И Рим свободный – он неповторим!
Его блестящих глаз мы больше не узрим.

83

Ты, кто орлов над Азией простер
И рвался дальше в бранном увлеченье,
Ты, Сулла, чей победоносный взор
Не разглядел, что Рим готовит мщенье:
Народ – за кровь, сенат – за униженье
(Один твой взгляд – и подчинился он), –
Ты все впитал: порок и преступленье,
Но, Рима сын, храня небрежный тон,
С улыбкой отдал то, что более чем трон,

84

Давало власть – диктаторское право.
 Ты мог ли знать, что Рим, его оплот,
 Возвысившая цезарей держава –
 Всесильный Рим, – когда-нибудь падет,
 Что в Рим царить не римлянин придет,
 Он – «Вечный град» в сознание поколений,
 Он, крыльями обнявший небосвод,
 Не знающий проигранных сражений,
 Он будет варваром поставлен на колени!

107

Плющ, кипарис, крапива да пырей,
 Колонн куски на черном пепелище.
 На месте храмов – камни пустырей,
 В подземной крипте – плящущий глазищи,
 Неспящий филин. Здесь его жилище.
 Ему здесь ночь. А это – баня, храм?
 Пусть объяснит знаток. Но этот нищий
 Твердит: то стен остатки. Знаю сам!
 А здесь был римский трои, – мощь обратилась в хлам.

108

Так вот каков истории урок:
 Меняется не сущность, только дата.
 За Вольностью и Славой – дайте срок! –
 Черед богатства, роскоши, разврата
 И варварства. Но Римом все объято,
 Он все познал, молился всем богам,
 Изведал все, что проклято иль свято,
 Что сердцу льстит, уму, глазам, ушам...
 Да что слова! Взгляни – и ты увидишь сам.

109

Плачь, смейся, негодуй, хвали, брани.
 Для чувств любых тут хватит матерьяла.
 Века и царства – видишь, вот они!
 На том холме, где все руиной стало,
 Как солнце, мощь империи блистала.
 О, маятник – от смеха и до слез, -
 О, человек! Все рухнет с пьедестала.
 Где золотые кровли? Кто их снес?
 Где все, чьей волею Рим богател и рос?

Александрии, в Египте – но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари. В общем, со львами дел христианский мир почти не имел, поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях. Что, конечно, сблизило их впоследствии с отцами-пустынниками; а кроме этого, христиане сталкивались со зверем только в качестве его пищи в римских цирках, куда львов ввозили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность – лучше сказать: их небывалость – и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с Божеством. Так что не совсем нелепо сажать зверя на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража вечного упокоения св. Марка; если не церковь, то саму Венецию можно счесть львицей, защищающей львенка. К тому же, в этом городе церковь и государство слились, совершенно византийским образом. Единственный случай, должен заметить, когда такое слияние обернулось, и очень скоро, выгодой для подданных. Поэтому неудивительно, что, как настоящий светский лев, он здесь в центре внимания, правда, держится при этом вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе, в конечном счете, имеют право зваться чудовищами (пускай добродушными), ибо в природе никогда не существовали. И еще потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и Самого Спасителя. С другой стороны, зверя изваять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более – в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки.

* * *

Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света; разрыв – со скоростью звука. Падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз. Поскольку ты сам конечен, отъезд из этого города всегда кажется окончательным; оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств; в лучшем случае, в расселины и расщелины мозга. Ибо глаз отождествляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза, по соображениям чисто оптическим, отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное, вызывает грусть, независимо от того, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что

нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.

* * *

А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа – драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, – пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под- или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкования снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам – и к херувимам. Вероятно, и херувимы – этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

* * *

На светлой стороне, конечно, множество львов: крылатых, с книгой, раскрытой на «Мир тебе, св. Марк», или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своих занятий я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может, но чье умение читать более сомнительно. Во всяком случае, лапой листать страницы удобнее, чем копытом. В этом городе львы на каждом углу, и с годами я невольно включился в почитание этого тотема, даже поместив одного из них на обложку одной моей книги: то есть на то, что в моей специальности точнее всего соответствует фасаду. Но они все равно чудовища, хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в бескрылом состоянии. (Греки со своим быком оказались большими реалистами, несмотря на его неолитическую родословную.) Что до самого евангелиста, то он, разумеется, умер в

110

Обломок фриза, брошенный во рву,
Увы! красноречивей Цицерона.
Где лавр, венчавший Цезаря главу?
Остался плющ – надгробная корона.
Венчайте им меня! А та колонна?
Траян увековечен в ней иль Тит?
Нет, Время, ибо Время непреклонно
Меняет все. И там святой стоит,
Где император был умерший не зарыт,

111

А поднят в воздух. Глядя в небо Рима,
В соседстве звезд обрел он вечный свет,
Последний, кто владел неколебимо
Всем римским миром. Тем, кто шел вослед,
Пришлось терять плоды былых побед.
А он, как Македонец, невозбранно
Свои владенья множил столько лет,
Но без убийств, без пьяного дурмана,
И мир доньше чтит величие Траяна.

112

Где холм героев, их триумфов сцена,
Иль та скала, где в предрешенный срок
Заканчивала путь земной измена,
Где честь свою вернуть изменник мог,
Свершив бесстрашно гибельный прыжок.
Здесь Рим слагал трофеи на вершине,
Здесь партий гнев и камни стен прожег,
И, пламенная, в мраморной пустыне
Речь Цицеронова звучит еще доньше.

113

Все Рим изведal: партий долгий спор,
Свободу, славу, иго тирании –
С тех пор, как робко крылья распростер,
До той поры, когда цари земные
Пред ним склонили раболепно выи.
И вот померк Свободы ореол,
И Рим узнал анархию впервые –
Любой пройдоха, захватив престол,
Топтал сенаторов и с чернью дружбу вел.

114

Но где последний Рима гражданин,
Где ты, Риенци, ты, второй Помпилий,
Ты, искупитель тягостных годин
Италии, ее позорных былей,
Петрарки друг! В тебе трибуна чтили.
Так пусть от древа Вольности листы
Не увядают на твоей могиле!
С тобой народ связал свои мечты.
О рыцарь Форума, как мало правил ты!

115

Эгерия! Творенье ли того,
Кто, для души прибежища не зная,
Ей, как подругу, создал божество?
Сама Аврора, нимфа ль ты лесная,
Или была ты женщина земная?
Не все ль равно! Вовек тому венец,
Кем рождена ты в мраморе живая!
Прекрасной мыслью вдохновив резец,
Ей совершенную и форму дал творец.

116

И в элизийских брызгах родника
Цветут и зреют тысячи растений.
Его кристалл не тронули века,
В нем отражен долины этой гений,
Его зеленых, диких обрамлений
Не давит мрамор статуй. Для ключа,
Как в древности, нет никаких стеснений.
Его струя, пузырясь и журча,
Бьет меж цветов и трав, среди гирлянд плюща.

117

Все фантастично! В яхонтах, в алмазах
Вокруг ручья – холмов зеленых ряд,
И ящериц проворных, быстроглазых,
И пестрых птиц причудливый наряд.
Они прохожим словно говорят:
Куда спешишь? Останься, путник, с нами,
Не торопись в твой город, в шум и чад!
Манят фиалки синими глазами,
Окрашенными в синь самими небесами.

приводящего к воде, так что его даже не назовешь *cul de sac*¹. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление – вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких взмахах руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска "*A destra, a sinistra, dritto, dritto*"², легко узнает рыбу.

* * *

Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности... По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов – как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. «Изобрази», – кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более – на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга.

* * *

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. «Изобрази», – шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц – достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в

Иосиф Бродский
Fondamenta degli incurabili

<отрывки>

Роберту Моргану

* * *

Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связанной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ – скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее – циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стаццоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

* * *

В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней – палуба – у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыть, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, – это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей – и взаимной – опасностью.

* * *

Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени – три-четыре дня, – и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно

118

Эгерия! Таков волшебный грот,
 Где смертного, богиня, ты встречала,
 Где ты ждала, придет иль не придет,
 И, звездное раскинув покрывало,
 Вас только ночь пурпурная венчала.
 Не здесь ли, в этом царстве волшебства,
 Впервые в мире дольном прозвучало,
 Как первого оракула слова,
 Моление о любви, признание божества.

119

И ты склонялась к смертному на грудь,
 В земной восторг пролив восторг небесный,
 Чтобы в любовь мгновенную вдохнуть
 Бессмертный пламень страсти бестелесной.
 Но кто, какую силою чудесной
 Не затупит стрелу, отраву смыв –
 Пресыщенность и скуку жизни пресной, –
 И плевелы, смертельные для нив,
 Кто вырвет, луг земной в небесный обратив?

128

Повсюду арки, арки видит взор,
 Ты скажешь: Рим не мог сойти со сцены,
 Пока не создал Колизей – собор
 Своих триумфов. Яркий свет Селены
 На камни льется, на ступени, стены,
 И мнится, лишь светильнику богов
 Светить пристало на рудник священный,
 Питавший столько будущих веков
 Сокровищами недр. И синей мглы покров

129

В благоуханье ночи итальянской,
 Где запах, звук – все говорит с тобой,
 Простерт над этой пустошью гигантской.
 То сам Сатурн всесильною рукой
 Благословил ее руин покой
 И сообщил останкам Рима бранным
 Какой-то скорбный и высокий строй,
 Столь чуждый нашим зданьям современным.
 Иль душу время даст их безразличным стенам?

130

О Время! Исцелитель всех сердец,
 Страстей непримиримых примиритель,
 Философ меж софистов и мудрец,
 Суждений ложных верный исправитель.
 Ты украшаешь смертную обитель.
 Ты проверяешь Истину, Любовь,
 Ты знаешь все! О Время, грозный мститель,
 К тебе я руки стираю вновь
 И об одном молю, одно мне уготовь:

131

Среди руин, где твой пустынный храм,
 Среди богов, вдали мирского шквала,
 Средь жертв, где в жертву приношу я сам
 Руины жизни – пусть я прожил мало:
 Когда хоть раз во мне ты спесь видало,
 Отринь меня, мои страданья множь,
 Но если в бедах сердце гордым стало,
 А был я добр, нося в нем острый нож,
 Заставь их каяться за клевету и ложь.

145

«Покуда Колизей неколебим,
 Великий Рим стоит неколебимо,
 Но рухни Колизей – и рухнет Рим,
 И рухнет мир, когда не станет Рима».
 Я повторяю слово пилигрима,
 Что древле из Шотландии моей
 Пришел сюда. Столетия мчатся мимо,
 Но существуют Рим и Колизей
 И Мир – притон воров, клоака жизни сей.

146

Храм всех богов – языческий, Христов,
 Простой и мудрый, величаво-строгий,
 Не раз я видел, как из тьмы веков,
 Взыскупя света, ищет мир дороги,
 Как все течет: народы, царства, боги.
 А он стоит, для веры сохранен,
 И дом искусств, и мир в его чертоге,
 Не тронутым дыханием времен.
 О, гордость зодчества и Рима – Пантеон.

V

День. Невесомая масса взятой в квадрат лазури,
 оставляя весь мир – всю синеву! – в тылу,
 припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре,
 и сдаётся стеклу.
 Кучерявая свора тщится настигнуть вора
 в разгоревшейся шапке, норд-ост суля.
 Город выглядит как толчея фарфора
 и битого хрусталя.

VI

Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
 как непарная обувь с ноги Творца,
 ревностно топчут шпиль, пилястры, арки,
 выраженье лица.
 Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
 самой H₂O. Но, как всякое в мире «за»,
 в меньшинстве оставляет ее и кровли
 праздная бирюза.

VII

Так выходят из вод, ошеломляя гладью
 кожи бугристой берег, с цветком в руке,
 забывая про платье, предоставляя платью
 всплескивать вдалеке.
 Так обдают вас брызгами. Те, кто бессмертен, пахнут
 водорослями, отличаясь от вообще людей,
 голубей отрывая от сумасшедших шахмат
 на торцах площадей.

VIII

Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
 под открытым небом, зимой, в одном
 пиджаке, поддав, раздвигая скулы
 фразами на родном.
 Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
 мелких бликов тусклый зрачок казня
 за стремленье запомнить пейзаж, способный
 обойтись без меня.

Иосиф Бродский**Венецианские строфы***Геннадью Шмакову***I**

Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус.
 От пощечины булочника матовая щека
 приобретает румянец, и вспыхивает стеклярус
 в лавке ростовщика.
 Мусорщики плывут. Как прутьями по ограде
 школьники на бегу, утренние лучи
 перебирают колонны, аркады, пряди
 водорослей, кирпичи.

II

Долго светает. Голый, холодный мрамор
 бедер новой Сусанны сопровождаем при
 погружении под воду стрекотом кинокамер
 новых старцев. Два-три
 грузных голубя, снявшихся с капители,
 на лету превращаются в чаек: таков налог
 на полет над водой, либо – поклеп постели,
 сонный, на потолок.

III

Сырость вползает в спальню, сводя лопатки
 спящей красавицы, что ко всему глуха.
 Так от хрустнувшей ветки ежятся куропатки,
 и ангелы – от греха.
 Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох.
 Пена бледного шелка захлестывает, легка,
 стулья и зеркало – местный стеклянный выход
 вещи из тупика.

IV

Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную
 раковину заполняет дребезг колоколов.
 То бредут к водопою глотнуть речную
 рябь стада куполов.
 Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,
 крепкий кофе, скомканное тряпье.
 И макает в горло дракона златой Егорий,
 как в чернила, копье.

147

Ты памятник искусства лучших дней,
 Ограбленный и все же совершенный.
 Кто древность любит и пришел за ней,
 Того овеет стариной священной
 Из каждой ниши. Кто идет, смиренный,
 Молиться, для того здесь алтари.
 Кто славы чтитель – прошлой, современной, –
 Броди хоть от зари и до зари
 И на бесчисленные статуи смотри.

148

Но что в темнице кажет бледный свет?
 Не разглядеть! И все ж заглянем снова.
 Вот видно что-то... Чей-то силуэт...
 Что? Призраки? Иль бред ума больного?
 Нет, ясно вижу старика седого
 И юную красавицу... Она,
 Как мать, пришла кормить отца родного.
 Развилась косы, грудь обнажена.
 Кровь этой женщины нектаром быть должна.

149

То Юность кормит Старость молоком,
 Отцу свой долг природный отдавая.
 Он не умрет забытым стариком,
 Пока, здоровье в плоть его вливая,
 В дочерних жилах кровь течет живая –
 Любви, Природы жизнетворный Нил,
 Чей ток щедрей, чем та река святая.
 Пей, пей, старик! Таких целебных сил
 В небесном царствии твой дух бы не вкусил.

152

Вот башня Адриана, – обозрим!
 Царей гробницы увидав на Ниле,
 Он наградил чужим уродством Рим,
 Решив себе на будущей могиле
 Установить надгробье в том же стиле,
 И мастеров пригнал со всех сторон,
 Чтоб монумент они соорудили.
 О, мудрецы! – и замысел смешон,
 И цель была низка, – и все ж колосс рожден.

153

Но вот собор – что чудеса Египта,
 Что храм Дианы, – здесь он был бы мал!
 Алтарь Христа, под ним святого крипта.
 Святилище Эфеса я видал –
 Бурьяном зарастающий портал,
 Где рыщут вокруг шакалы и гиены.
 Софии храм передо мной блистал,
 Чаруя все громадой драгоценной,
 Которой завладел Ислама сын надменный.

154

Но где, меж тысяч храмов и церквей,
 Тебя достойней божия обитель?
 С тех пор как в дикой ярости своей
 В святой Сион ворвался осквернитель
 И не сразил врага небесный мститель,
 Где был еще такой собор? – Нигде!
 Недаром так дивится посетитель
 И куполу в лазурной высоте,
 И этой стройности, величию, красоте.

155

Войдем же внутрь – он здесь не подавляет,
 И здесь огромно все, но в этот миг
 Твой дух, безмерно ширясь, воспаряет,
 Он рубежей бессмертия достиг
 И вровень с окружающим велик.
 Так он в свой час на божий лик воззрится,
 И видевшего святости родник
 Не покарает божия десница,
 Как не карает тех, кто в этот храм стремится,

156

И ты идешь, и все растет кругом.
 Так – что ни шаг, то выше Альп вершины.
 В чудовищном изяществе своем
 Он высится столичный, но единый,
 Как все убранство, статуи, картины,
 Под грандиозным куполом, чей взлет
 Не повторит строитель ни единый,
 Затем, что в небесах его оплот,
 А зодчеству других земля его дает.

Владислав Ходасевич

Нет ничего прекрасней и привольней,
 Чем навсегда с возлюбленной расстаться
 И выйти из вокзала одному.
 По-новому тогда перед тобою
 Дворцы венецианские предстанут.
 Помедли на ступенях, а потом
 Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,
 Вдохни свободно запах рыбы, масла
 Прогорклого и овощей лежалых
 И вспомни без раскаянья, что поезд
 Уж Мэстре, вероятно, миновал.
 Потом зайди в лавчонку banco lotto,
 Поставь на семь, четырнадцать и сорок,
 Пройдись по Мерчери и пообедай
 С бутылкою «Вальполичелла». А в девять
 Переоденься и явись на Пьяцце.
 И под финал волшебной увертюры
 «Тангейзера» — подумай: «Уж теперь
 Она проехала Понтеббу». Как привольно!
 На сердце и свежо и горьковато.

1925-26

Борис Пастернак

Венеция

Я был разбужен спозаранку
 Щелчком оконного стекла.
 Размокшей каменной баранкой
 В воде Венеция плыла.

Всё было тихо, и, однако,
 Во сне я слышал крик, и он
 Подобьем смолкнувшего знака
 Ещё тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
 Над гладью стихших мандолин

И женщиною оскорбленной,
 Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и чёрной вилкой
 Торчал по черенку во мгле.
 Большой канал с косою ухмылкой
 Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
 В остатках сна рождалась явь.
 Венеция венецианкой
 Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

Осип Мандельштам

Венецейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зелёная парча.
Всех кладут на кипарисные носилки.
Сонных, тёплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешанная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой гранёный. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зелёная, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

1920

157

Взор не охватит все, но по частям
Он целое охватывает вскорее.
Так тысячами бухт своим гостям
Себя сначала раскрывает море.
От части к части шел ты и в соборе,
И вдруг – о, чудо! – сердцем ты постиг
Язык пропорций в их согласном хоре -
Магической огромности язык,
В котором лишь сумбур ты видел в первый миг.

158

Вина твоя! Но смысл великих дел
Мы только шаг за шагом постигаем,
Кто словом слабым выразить умел
То сильное, чем дух обуреваем?
И, жалкие, бессильно мы взираем
На эту мощь взметенных к небу масс,
Покуда вширь и ввысь не простираем
И мысль и чувство, дремлющие в нас, –
И лишь тогда весь храм охватывает глаз.

159

Так не спеши – да приобщишься к свету!
Сей храм, он мысли может больше дать,
Чем сто чудес пресыщенному свету,
Чем верующим – веры благодать,
Чем все, что в прошлом гений мог создать.
И то познаешь, то поймешь впервые,
Что ни придумать, ни предугадать,
Ты россыпи увидишь золотые,
Всего высокого источники святые.

160

И дальше – в Ватикан! Перед тобой
Лаокоон – вершина вдохновенья.
Неколебимость бога пред судьбой,
Любовь отца и смертного мученья –
Все здесь! А змеи – как стальные звенья
Тройной цепи, – не вырвется старик,
Хоть каждый мускул полон напряженья,
Дракон обвил, зажал его, приник,
И все страшнее боль, и все слабее крик.

161

Но вот он сам, поэтов покровитель,
 Бог солнца, стреловержец Аполлон.
 Он смотрит, лучезарный победитель,
 Как издыхает раненый дракон.
 Прекрасный лик победой озарен,
 Откинут стан стремительным движеньем.
 Бессмертный, принял смертный облик он,
 Трепещут ноздри гневом и презреньем, -
 Так смотрит только бог, когда пылает мщеньем.

162

О, совершенство форм! – То нимфы сон,
 Любовный сон, – любовь такими снами
 В безумие ввергает дев и жен.
 Но в этих формах явлен небесами
 Весь идеал прекрасного пред нами,
 Сияющий нам только в редкий час,
 Когда витает дух в надмирном храме,
 И мыслей вихрь – как сонмы звезд вокруг нас,
 И бога видим мы, и слышим божий глас.

163

И если впрямь похитил Прометей
 Небесный пламень – в этом изваянье
 Богам оплачен долг за всех людей.
 Но в мраморе – не смертного дыханье,
 Хоть этот мрамор – смертных рук создание –
 Поэзией сведен с Олимпа к нам,
 Он целым, в первозданном обаянье,
 Дошел до нас наперекор векам
 И греет нас огнем, которым создан сам.

Примечания:

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. *Ponte del Sospiri* (Мост вздохов; итал.) – крытый мост в Венеции, соединяющий Дворец дождей с тюрьмой Сан-Марко.
2. *Анадиомена* — эпитет богини Афродиты, рождающейся из морской пены и выходящей на сушу.
3. ...*смолк напев Торкватовых октав...* – Байрон говорит о некогда широко распространенном обычае венециан-

ских гондольеров петь отрывки из поэмы великого итальянского поэта Торквато Тассо (1544-1595) «Освобожденный Иерусалим».

Пьер, Шейлок и Отелло – герои произведений английских писателей, действие которых происходит в Венеции (Пьер – герой трагедии Томаса Отвея (1651-1685) «Спасенная Венеция»,

Чуть склоняет стан - и вырастает,
 Стоя на корме ее... Мы долго
 Плыли в узких коридорах улиц,
 Между стен высоких и тяжелых...
 В этих коридорах – баржи с лесом,
 Барки с солью: стали и ночуют.
 Под стенами – сваи и ступени,
 В плесени и слизи. Сверху – небо,
 Лента неба в мелких бледных звездах...
 В полночь спит Венеция, – быть может,
 Лишь в притонах для воров и пьяниц,
 За вокзалом, светят щели в ставнях,
 И за ними глухо слышны крики,
 Буйный хохот, споры и удары
 По столам и столикам, залитым
 Марсалай и вермутом... Есть прелесть
 В этой поздней, в этой чадной жизни
 Пьяниц, проституток и матросов!
 “No amato, amo, Desdemona”², -
 Говорит Энрико, напевая,
 И, быть может, слышит эту песню
 Кто-нибудь вот в этом темном доме -
 Та душа, что любит... За оградой
 Вижу садик; в чистом небосклоне -
 Голые, прозрачные деревья,
 И стеклом блестят они, и пахнет
 Сад вином и медом... Этот винный
 Запах листьев тоньше, чем весенний!
 Молодость груба, жадна, ревнива,
 Молодость не знает счастья - видеть
 Слезы на ресницах Дездемоны,
 Любящей другого...
 Вот и светлый
 Выход в небо, в лунный блеск и воды!
 Здравствуй, небо, здравствуй, ясный месяц,
 Перелив зеркальных вод и тонкий
 Голубой туман, в котором сказкой
 Кажутся вдали дома и церкви!
 Здравствуйте, полночные просторы
 Золотого млеющего взморья
 И огни чуть видного экспресса,
 Золотой бегущие цепочкой
 По лагунам к югу!

30.VIII.13

1 «Дай мне сольдо!» (итал.). 2 «Я любил, люблю, Дездемона» (итал.).

За лагуны Адрии зеленой,
В голубой простор глядел крылатый
Лев с колонны. В ясную погоду
Он на юге видит Апеннины,
А на сизом севере – тройные
Волны Альп, мерцающих над синью
Платиной горбов своих ледяных...

Вечером – туман, молочно-серый,
Дымный, непроглядный. И пушистыми
Зеленеют в нем огни, столбами
Фонари отбрасывают тени.
Траурно Большой канал чернеет
В россыпи огней, туманно-красных,
Марк тяжел и древен. В переулках –
Слякоть, грязь. Идут посередине, –
В опере как будто. Сладко пахнут
Крепкие сигары. И уютно
В светлых галереях – ярко блещут
Их кафе, витрины. Англичане
Покупают кружево и книжки
С толстыми шершавыми листьями,
В переплетах с золоченой вязью,
С грубыми застежками... За мною
Девочка пристреля – все касалась
До плеча рукою, улыбаясь
Жалостно и робко: “Mi d'un soldo!”¹
Долго я сидел потом в таверне,
Долго вспоминал ее прелестный
Жаркий взгляд, лучистые ресницы
И лохмотья... Может быть, арабка?

Ночью, в час, я вышел. Очень сыро,
Но тепло и мягко. На пьестетте
Камни мокры. Нежно пахнет морем,
Холодно и сыро вонью скользких
Темных переулков, от канала –
Свежестью арбуза. В светлом небе
Над пьестеттой, против папских статуй
На фасаде церкви – бледный месяц:
То сияет, то за дымом тает,
За осенней мглой, бегущей с моря.
«Не заснул, Энрико?» – Он беззвучно,
Медленно на лунный свет выводит
Длинный черный катафалк гондолы,

Шейлок и Отелло – герои пьес
Шекспира «Венецианский купец» и
«Отелло».)

11. «*Буцентавр*» – название корабля
Венецианской республики, на котором
в день Вознесения дож Венеции
выезжал в открытое море и
символически обручался с Адриатикой,
бросая в море кольцо.

...*pape neugodnyj*, // *Склонился
император...* – Германский император
Фридрих I Барбаросса (ок. 1125-1190),
отлученный римским папой
Александром III от церкви, чтобы снять
отлучение, был вынужден отправиться
в Венецию, где находился папа, и
проделать унижительную церемонию
целования папской туфли в знак
покорности воле папы.

14. «*Рассадник львов*» – В Италии
венецианцев называют «панталони».
Байрон предполагал, что название это
произошло от *pianta leone* –
«водружающие львов».

Лепанто — город в Греции, на берегу
Коринфского залива, близ которого 7
октября 1571 г. во время венецианско-
турецкой войны 1570—73 гг.
произошло сражение между турецким и
испано-венецианским флотами,
завершившееся разгромом турецкого
флота.

15. *от Европы турок отразила* – В
морском сражении при Лепанто в 1571
г. объединенный флот Испании,
Венеции и римского папы нанес
турецкому флоту крупное поражение.

18. *Радклиф Анна* (1764-1823) –
английская писательница. В ее романе
«Удольфские тайны» действие
происходит в Венеции.

48. *Арно* – река в Италии, на которой
стоят Флоренция и Пиза.

Этрурия – область на северо-западе
Апеннинского полуострова, населенная
в древности этрусками; современная
Тоскана.

Наследница Афин – Флоренция,
сыгравшая значительную роль в
истории культуры и искусства Италии.

49. *Вилла* – Байрон имеет в виду
художественную галерею Уффици во
Флоренции, где находится статуя Венеры
Медицейской.

54. *Санта-Кроче* – церковь-усыпальница
во Флоренции.

55. *Канова* – Канова Антонио (1757–
1822), итальянский скульптор,
представитель классицизма.

56. ...*где три брата кровных?* – Байрон
говорит о трех великих основоположниках
итальянской литературы – Данте,
Петрарке и Боккаччо.

...*рассказчик ста новелл...* – Джованни
Боккаччо (1313-1375).

57. *Как Сципион, храним чужою сенью...* –
Публий Корнелий Сципион Африканский
Старший (ок. 235-183 гг. до н.э.) –
римский полководец. По преданию,
обиженный неблагодарностью граждан
Рима, остаток дней провел далеко от
столицы.

...*вдали твой Данте спит...* – Данте,
родившийся во Флоренции, умер в
изгнании, похоронен в Равенне.

...*лавр носил Петрарка не родной...* – За
поэму «Африка» Петрарка был увенчан
лавровым венком в Риме.

...*ограблен был ...твоей* – Имущество отца
Петрарки было конфисковано, а сам он
изгнан из Флоренции вскоре после
изгнания Данте.

58. ...*надгробье снял ханжа презренный...*
– Ненавидевшие Боккаччо церковники в
1783 г. уничтожили его гробницу.

59. ...*Когда на имя Брута лег запрет...* –
Брут Марк Юний (85-42 гг. до н.э.) –
римский политический деятель,
республиканец, один из убийц Юлия
Цезаря.

79. *Ниобея* – дочь Тантала и Эврианалы,
супруга Амфиона, царя фивского, гордая
мать семи сыновей и семи дочерей,
которых, в наказание за её высокомерие,
Аполлон и Диана, убили в её глазах, а ее
превратили в камень; символ
материнского горя.

82. ...*торжество трехсот триумфов!* –
Считают, что за всю историю Древнего
Рима город был свидетелем трехсот

двадцати триумфов – торжественных встреч полководцев-победителей.

110. *И там святой стоит, // Где император был умерший не зарыт.* – В 1587 г. статуя римского императора Траяна (531-17 гг. н.э.) была снята с колонны и вместо нее установлена статуя св. Петра.

114. *Риенци Кола ди (1313-1354)* – итальянский политический деятель, возглавивший восстание 1347 г. в Риме.

115. *Эгерия* – в римской мифологии пророчица-нимфа ручья в посвященной Карменте роше, из которого весталки

черпали воду для храма Весты. Рассказывают, что Эгерия была возлюбленной Нумы Помпилия и передала ему небесную мудрость.

152. *Башия Адриана* – гробница римского императора Адриана (76-138 гг. н.э.).

153. *Храм Дианы* – один из прекраснейших памятников древнегреческой архитектуры в городе Эфесе в Малой Азии. По преданию, был сожжен Геростратом с целью прославиться.

153-157. Здесь Байрон говорит о соборе св. Петра в Риме.

(1809-1817)

Н.В. Гоголь Италия

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Бежит, шумит задумчиво волна
И берега чудесные целует;
В ней небеса прекрасные блестят;
Лимон горит и веет аромат.

И всю страну объемлет вдохновенье;
На всем печать протекшего лежит;
И путник зреть великое творенье,
Сам пламенный, из снежных стран спешит;
Душа кипит, и весь он — умиленье,
В очах слеза невольная дрожит;
Он, погружен в мечтательную думу,
Внимает дел давно минувших шуму.

Здесь низок мир холодной суеты,
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит;
И радужней в сиянии красоты,
И жарче, и ясней по небу солнце ходит.
И чудный шум и чудные мечты
Здесь море вдруг спокойное наводит;
В нем облаков мелькает резвый ход,
Зеленый лес и синий неба свод.

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит.
Как спит земля, красой упоена!
И страстно мирт над ней главой колышет,
Среди небес, в сиянии луна
Глядит на мир, задумалась и слышит,
Как под веслом проговорит волна;
Как через сад октавы пронесутся,
Пленительно вдали звучат и льются.

Земля любви и море чарований!
Блистательный мирской пустыни сад!
Тот сад, где в облаке мечтаний
Еще живут Рафаэль и Торкват!
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?
Душа в лучах, и думы говорят,
Меня влечет и жжет твоё дыханье, —
Я в небесах, весь звук и трепетанье!..

1827

Радостно все это было видеть!
Восемь лет... Я спал в давно знакомой
Низкой, старой комнате, под белым
Потолком, расписанным цветами.
Утром слышу, – колокол: и звонко
И певуче, но не к нам взывает
Этот чистый одинокий голос,
Голос давней жизни, от которой
Только красота одна осталась!
Утром косо розовое солнце
Заглянуло в узкий переулок,
Озаряя отблеском от дома,
От стены напротив – и опять я
Радостную близость моря, воли
Ощутил, увидевши над крышей,
Над бельем, что по ветру трепалось,
Облаков сиреневые ключья
В жидком, влажно-бирюзовом небе.
А потом на крышу прибежала
И белье снимала, напевая,
Девушка с раскрытой головою,
Стройная и тонкая... Я вспомнил
Капри, Грациэллу Ламартина...
Восемь лет назад я был моложе,
Но не сердцем, нет, совсем не сердцем!
В полдень, возле Марка, что казался
Патриархом Сирии и Смирны,
Солнце, улыбаясь в светлой дымке,
Перламутром розовым слепило.
Солнце пригревало стены Дожей,
Площадь и воркующих, кипящих
Сизых голубей, клевавших зерна
Под ногами щедрых форестьеров.
Все блестяло – шляпы, обувь, трости,
Щурились глаза, сверкали зубы,
Женщины, весну напоминая
Светлыми нарядами, раскрыли
Шелковые зонтики, чтоб шелком
Озаряло лица... В галерее
Я сидел, спросил газету, кофе
И о чем-то думал... Тот, кто молод,
Знает, что он любит. Мы не знаем –
Целый мир мы любим... И далеко,
За каналы, за лежавший плоско
И сиявший в тусклом блеске город,

Евг. Иванову

Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь – больной и юный –
Простерт у львиного столба.

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

На башне, с песнию чугуновой,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.

Всё спит - дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользкий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.

*Август 1909***Анна Ахматова****Венеция**

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зелёной;
Заметают ветерок солёный
Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

*Август 1912***Иван Бунин**

Восемь лет в Венеции я не был...
Всякий раз, когда вокзал минуешь
И на пристань выйдешь, удивляет
Тишина Венеции, пьянеешь
От морского воздуха каналов.
Эти лодки, барки, маслянистый
Блеск воды, огнями озаренной,
А за нею низкий ряд фасадов
Как бы из слоновой грязной кости,
А над ними синий южный вечер,
Мокрый и ненастный, но налитый
Синевою мягкою, лиловой, -

Ф. И. Тютчев*Kennst du das Land?..*

Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон и апельсин золотой
Как жар горит под зеленью густой?..
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Хотела б я укрыться, милый мой.

Ты знаешь высь с стезей по крутизнам?
Лошак бредет в тумане по снегам,
В ущельях гор отродье змей живет,
Гремит обвал и водопад ревет...
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Лежит наш путь – уйдем, властитель мой.

Ты знаешь дом на мраморных столпах?
Сияет зал, и купол весь в лучах;
Глядят кумиры, молча и грустя:
«Что, что с тобою, бедное дитя?..»
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Уйдем скорей, уйдем, родитель мой.

*Между январем и 27 октября 1851***Афанасий Фет****Италия**

Италия, ты сердцу солгала!
Как долго я в душе тебя лелеял, -
Но не такой мечта тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

В твоих степях любимый образ мой
Не мог, опять воскреснувши, не вырасть;
Сын севера, люблю я шум лесной
И зелени растительную сырость.

Твоих сынов паденье и позор
И нищету увидя, содрогаюсь;
Но иногда, суровый приговор
Забыв, опять с тобою примиряюсь.

В углах садов и старческих руин
Нередко жар я чувствую мгновенный
И слушаю — и кажется, один
Я слышу гимн Сивиллы вдохновенной.

В подобный миг чужие небеса
Неведомой мне в душу веют силой,
И я люблю, увядшая краса,
Твой долгий взор, надменный и Унылый,

И ящериц, мелькающих кругом,
И негу их на нестерпимом зное,
И страстного кумира под плющом
Раскидистым увечье вековое.

1857

Константин Бальмонт Италия

От царственной мозаики Равенны
До мраморов, что скрыл от смерти Рим,
Созданья мы твои благотворим,
Италия, струна и кубок пенный.

Неаполь, шабаш солнца неизменный,
Флоренция, лазурный серафим,
Венеция, где страстью дух палим,
А живопись — цвет золота нетленный.

В Италии повсюду алтари,
И две, в веках, в ней равноценны власти,
Язычество с огнем давнишней страсти

И благовестье в отсветах зари.
Красавица, не снявшая запястий,
В служенье богу, в красоте — цари.

Валерий Брюсов

Опять в Венеции

Опять встречаю с дрожью прежней,
Венеция, твой пышный прах!
Он величавей, безмятежней
Всего, что создано в веках!

Что наших робких дерзновений
Полет, лишенный крыльев! Здесь
Посмел желать народный гений
И замысл свой исчерпать весь.

Где грезят древние палаты,
Являя мраморные сны,
Не горько вспомнить мне не сжатый
Посев моей былой весны,

И над руиной Кампаниле,
Венчавшей прежде облик твой,
О всем прекрасном, что в могиле,
Мечтать с поникшей головой.

Пусть гибнет все, в чем время вольно,
И в краткой жизни, и в веках!
Я вновь целую богомольно
Венеции бессмертный прах!

1 августа 1908

Александр Блок

Венеция

1

С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег,
С нею я был далёко,
С нею забыл я близких...

Идет от сумрачной обедни,
Нет в сердце крови...
Христос, уставший крест нести...

О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!

Адриатической любви -
Моей последней -
Прости, прости!

9 мая 1909

Аполлон Григорьев**Из поэмы Venezia la Bella**

* * *

То не был сон. Я плыл в Риальто, жадно
Глядя на лик встававших предо мной
Узорчатых палаццо. С безотрадной,
Суровой скорбью памяти немой
Гляделся в волны мраморный и хладный,
Запечатленный мрачной красотой,
Их старый лик, по-старому нарядный,
Но плесенью подернутый сырой...
Я плыл в Риальто от сиявших ярко
Огней на площади святого Марка,
От праздника беспутного под звон
Литавр австрийских... сердцем влекся в даль,
Туда, где хоть у волн не замер стон
И где хоть камень полн еще печалью!

* * *

Я плыл в Риальто. Всюду тишь стояла:
В волнах канала, в воздухе ночном!
Лишь изредка с весла струя плескала,
Пронизанная месяца лучом,
И долго позади еще мелькала,
Переливаясь ярким серебром.
Но эта тишь гармонией звучала,
Баюкала каким-то страстным сном,
Прозрачно-чутким, жаждущим чего-то.
И сердце, отозвавшись, стало ныть,
И в нем давно нетроганная нота
Непрошенная вздумала ожить
И быстро понеслась к далекой дали
Призывным стоном, ропотом печали.

1857-58

Рим в поэзии и прозе

Н.В. Гоголь**Рим**

Он появился в Риме после пятнадцати лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти. <...>

... Когда, наконец, после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол — о!.. сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякой холмик и отлогость. И вот уже наконец, Ponte Molle, городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянул Monte Pincio с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилося его сердце! <...> Вот предстали пред ним опять все дома, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе, Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец, поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице.

<...> Он ... принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный древний Рим? и потом уже узнает его, когда мало-по-малу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и наконец далеко, там где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плещей, алоэ и открытых равнин, необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...

Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил всё равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось

Ф. И. Тютчев**Венеция**

Дожд Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей.

И чета в любви и мире
Много славы нажила —
Века три или четыре,
Всё могучее и шире,
Разрасталась в целом мире
Тень от *львиного крыла*.

И недаром в эти воды
Он кольцо свое бросал:
Веки целые, не годы
(Дивовалися народы)
Чудный перстень воеводы
Их вязал и чаровал...

А теперь? В волнах забвенья
Сколько брошенных колец!..
Миновались поколенья, —
Эти кольца обрученья,
Эти кольца стали звенья
Тяжкой цепи наконец!..

<1850>

И.С. Тургенев**<отрывок из романа «Накануне»>**

Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу — Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастья. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», — говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. Отжившему, разбитому жизнью не для чего посещать Венецию: она будет ему горька, как память о несбывшихся мечтах первоначальных дней; но сладка будет она тому, в ком кипят еще силы, кто чувствует себя благополучным; пусть он принесет свое счастье под очарованные небеса, и как бы оно ни было лучезарно, она еще озолотит его неувыдаемым сиянием.

1859

Михаил Лермонтов

Венеция

1

Поверхностью морей отражена,
 Богатая Венеция почилла,
 Сырой туман дымился, и луна
 Высокие твердыни осребрила.
 Чуть виден бег далекого ветрила,
 Студеная вечерняя волна
 Едва шумит вод веслами гондолы
 И повторяет звуки баркаролы.

2

Мне чудится, что это ночи стон,
 Как мы, своим покоем недовольной,
 Но снова песнь! и вновь гитары звон!
 О, бойтесь, мужья, сей песни вольной.
 Советую, хотя мне это больно,
 Не выпускать красавиц ваших, жен;
 Но если вы в сей миг неверны сами,
 Тогда, друзья! да будет мир меж вами!

4

Рука с рукой, свободу дав очам,
 Сидят в ладье и шепчут меж собою;
 Она вверяет месячным лучам
 Младую грудь с пленительной рукою,
 Укрытые досель под епанчою,
 Чтоб юношу сильней прижать к устам;
 Меж тем вдали, то грустный, то веселый,
 Раздался звук обычной баркаролы:

Как в дальнем море ветерок,
 Свободен вечно мой челнок;
 Как речки быстрое русло,
 Не устает мое весло.

Гондола по воде скользит,
 А время по любви летит;
 Опять сравнивается вода,
 Страсть не воскреснет никогда.

1830-31

это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных молчаливых, заслоненных снизу, громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдохавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякой день новых и новых чудес, и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусками обложена была большая дверь и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; — или как вдруг неожиданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; — как темная грязная улица оканчивалась неожиданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темнолазурном небе с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти — и понял он наконец ясно, что только здесь, только в Италии слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслаждение, когда он переносился во внутренность церковей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие созданья кисти, уже неповторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, всё еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как пред этой величественной

прекрасной роскошью показала ему теперь низкую роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшения магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых, и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство. Как низко показала ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслию украсить стены вековечным созданием кисти, перед этой прекрасной мыслию владельца дворца доставить себе вечный предмет наслаждения в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрязга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движениям души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным непостижимым порождением XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем.

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: когда и как успели они это наделать! Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет... И там, и в той церкви хранится какое-нибудь чудо кисти. И там на дряхлеющей стене еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувыдаемой кистью плафон. Всё это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякой раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятые спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.

Теперь ему казалась еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так браняемая иностранцами. Ему неприятно бы было выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами,

Венеция в поэзии и прозе

Николай Гумилев

Пиза

Солнце жжёт высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары!

Ах, и мукам счёт и уладам
Не веками ведут — годами!
Гибеллины и гвельфы рядом
Задремали в гробах с гербами.

Всё спокойно под небом ясным;
Вот, окончив псалом последний,
Возвращаются дети в красном
По домам от поздней обедни.

Всё проходит, как тень, но время
Остаётся, как прежде, мстящим,
И бывшее, тёмное бремя
Продолжает жить в настоящем.

Где ж они, суровые громы
Золотой тосканской равнины,
Ненасытная страсть Содомы
И голодный вопль Уголино?

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

*Италия
1912*

Михаил Кузмин

Утро во Флоренции

От San Michele,
Мимоз гора!
К беспечной цели
Ведет игра.
Веточку, только веточку
В петлицу вдень —
Проходишь весело
С ней целый день.
В большой столовой
Звенит хрусталь,
Улыбки новой
Сладка печаль!

Какой-то особенный,
Легкий миг:
Блестят соломенно
Обложки книг.
В каком апреле
Проснулись мы?
На самом деле
Нет тюрьмы?
Свежо и приторно...
Одеколон?
Тележка подана,
Открой балкон!

Апрель 1921

щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с трехугольной шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами — всё как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ, или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселении Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светловерблюжьим цветом; наконец, это население художников, собравшихся со всех сторон света, которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах, их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонарда да-Винчи и Тициана, так непохожие на те уродливые, узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы, или бархатным нарядом, известным под именем cinquecento, которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мнения, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или не похожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.

Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные Римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойствием расстилавшиеся вокруг, где пламеня сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на

четыре стороны: с одной соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плавучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов подобно длинному фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвету весенней сирени. С третьей — эти поля увенчивались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя в даль. В чудную постепенность цветов облакал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные доны и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдаль чуть приметных роц. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него, и властительно остающийся наконец один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано, в часы захождения солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и, наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдаль золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв всё, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось без толку ему в очи. <...>

Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную

сиенского Palazzo Publico расписаны Содомой, самым талантливым и самым вульгарным учеником Леонардо.

Однако на розовом фоне вечера меня поражает не одна острота сиенских башенок. Всего удивительнее то, что самая внушительная башня разукрашена плоскими. Вечер воскресный, и, когда стемнеет, на площади будет играть, разумеется, военный оркестр.

Поток народа уносит меня от двери «Госканы» на главную улицу. Скоро с улицы налево спускается ряд ступеней, и крытым проходом, который назывался бы в Венеции sottoportico, я спускаюсь на площадь.

Передо мной – блистательный Palazzo, изукрашенный плоскими в несколько рядов. Под волчицей скромно дудит военный оркестр. Вся площадь представляет из себя вогнутый полукруг, в котором местами пробивается трава. Palazzo стоит на нижнем конце, его фасад занимает почти весь диаметр, и я вижу его весь перед собою с самой высокой точки, от чудесного фонтана Gaia.

Здесь происходили когда-то народные собрания. Площадь и теперь полна народу – так и кишит. Вечер теплый, и женщины – в легких пестрых платьях. Месяц светит тускло, старинные плоские еще тусклее, оркестр спрятан за толпой, и музыка не очень сложна. Если не вглядываться в лица и костюмы, можно перенестись в средние века и пережить гофмановскую сказку наяву. Этому помогает крайняя наивность итальянок; они приходят сюда с явной и нескрываемой целью – показать себя, если они себе нравятся, или посмотреть других, если они сами не хороши собою. И хорошенькие и дурнушки веселятся при этом одинаково, и одинаково ходят взад и вперед бедные и богатые, красивые и некрасивые, молодые и старые. Удивительно чистые и без всякой задней мысли на лице. Должно быть, для такого невинного веселья надо родиться в Италии.

Плоские гаснут, оркестр умолкает, девушки уходят спать. Ужасно печально в такой ранний час остаться одному перед волчицей. Невинно пьяные молодые люди бродят маленькой кучкой и поют. Тень промелькнет за окном, и свет погаснет. Кабачок «Трех девиц» в каком-то крутом переулке мигает единственным фонарем.

Осень 1909

1. *Гвельфы* – партия в средневековой Италии, выступавшая в поддержку светской власти папы. Ее противником была партия *гибеллинов*, сторонников императорской власти.
2. Изображение льва – эмблема Флоренции (*ит.*).

Александр Блок

Вечер в Сиене

Поезд прополз по краю холма узкой полосой рельс среди густых виноградных стен и уперся в туннель. Здесь он неожиданно остановился, дал задний ход и тихими толчками пополз на крутую гору. Только что пройденный путь вьется все ниже, на соседних высотах открывается монастырь.

Мы приехали в Сиену с юга в розовых сумерках угасающего дня.

Старая гостиница La Toscana. В моей маленькой комнатке в самом верхнем этаже открыто окно, я высовываюсь подышать воздухом прохладных высот после душного вагона... Боже мой! Розовое небо сейчас совсем погаснет. Острые башни везде, куда ни глянешь, — тонкие, легкие, как вся итальянская готика, тонкие до дерзости и такие высокие, будто метят в самое сердце бога. Сиена всех смелей играет строгой готикой — старый младенец! И в длиннооких ее мадоннах есть дерзкое лукавство; смотрят ли они на ребенка, или кормят его грудью, или смиренно принимают благую весть Гавриила, или просто взгляд их устремлен в пустое пространство, — неизменно сквозит в нем какая-то лукавая кошачья ласковость. Буря ли играет за плечами, или опускается тихий вечер, — они глядят длинными очами, не обещая, не разуверяя, только щурясь на гвельфовские¹ затеи своих хлопотливых живых мужей. Эти живые когда-то действительно были по уши в хлопотах, вечно завидуя гибеллинам, вечно воюя с соседкой Флоренцией. На зависть флорентийским гибеллинам вознесли сиенцы свой «общественный дворец», не меньший, чем флорентийский Palazzo Vecchio, и очень похожий на него. Только на площади стоит не Marzocco² с лилией, а голодная волчица с торчащими ребрами, к которой присосались маленькие близнецы.

Но Palazzo Vecchio во Флоренции — это мрачное жилище летучих мышей; там, где-то в поднебесье, ютилась малокровная и ленивая Элеонора Толедская со своим шаловливым и жестоким мальчишкой сыном, которого потом придушили; там же в грозную ночь, полную мрачных видений и предзнаменований, умирал Лаврентий Великолепный. Все это оставило свой неизгладимый след, навсегда окутало тайной и без того, мрачную постройку — одну из самых мрачных в Италии. Напротив, в сиенском Palazzo нет никакой мрачности — ни снаружи, ни внутри, хотя расположение похоже; но стены Palazzo Vecchio — пустые, голые, а стены

эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как италиянец-домосед, входящий и телом, и душой в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого, — он теперь мог оглядывать всё покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории; как разом возникли здесь все образы и виды гражданства и правлений: волнующиеся республики сильных непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями, под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недрах незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ними: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! — И всё это исчезло и прошло вдруг, всё застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою как старый ненужный хлам. <...>

Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капилийские здания с конями, статуями; еще правее над блещущей толпой домов и крыш величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И

над всей сверкающей сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичи, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом. Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и всё казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза — всё вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались: пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы, — знак, что уже пробежали кони без седоков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе: еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух... Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя ... и всё что ни есть на свете.

1841

Аполлон Майков

<Из цикла «Очерки Рима»>

Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!
 Под этаким небом невольно художником станешь.
 Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
 Из ярких стихов антологии древней Эллады.
 Ну, вот, поглядите: по каменной белой ограде разросся
 Блуждающий плющ, как развешанный плащ иль завеса;
 В середине, меж двух кипарисов, глубокая темная ниша,
 Откуда глядит голова с преуродливой миной
 Тритона. Холодная влага из пасти, звеня, упадает.
 К фонтану альбанка (ах, что за глаза из-под тени
 Покрова сияют у ней! что за стан в этом алом корсете!)
 Подставив кувшин, ожидает, как скоро водою
 Наполнится он, а другая подруга стоит неподвижно,
 Рукой охватив осторожно кувшин на облитой
 Вечерним лучом голове... Художник (должно быть, германец)
 Спешит срисовать их, довольный, что случай нежданно
 В их позах сюжет ему дал для картины, и вовсе не мысля,
 Что я срисовал в то же время и чудное небо,
 И плющ темнолистый, фонтан и свирепую рожу тритона,
 Альбанок и даже — его самого с его кистью!

1844

Флоренция

1

Умри, Флоренция, Иуда,
 Исчезни в сумрак вековой!
 Я в час любви тебя забуду,
 В час смерти буду не с тобой!

Звенят в пыли велосипеды
 Там, где святой монах сожжен,
 Где Леонардо сумрак ведал,
 Беато снился синий сон!

О, Bella*, смейся над собою,
 Уж не прекрасна больше ты!
 Гнилой морщиной гробового
 Искажены твои черты!

Ты пышных Медичей тревожишь,
 Ты топчешь лилии свои,
 Но воскресить себя не можешь
 В пыли торговой толчеи!

Хрипят твои автомобили,
 Твои уродливы дома,
 Всевропейской желтой пыли
 Ты предала себя сама!

Гнусавой мессы стон протяжный
 И трупный запах роз в церквах -
 Весь груз тоски многоэтажный -
 Сгинь в очистительных веках!

Май - июнь 1909

*Bella - Прекрасная (*итал.*) - распространенное в Италии название Флоренции.

2

Флоренция, ты ирис нежный;
 По ком томился я один
 Любовью длинной, безнадежной,
 Весь день в пыли твоих Кашин?

О, сладко вспомнить безнадежность:
 Мечтать и жить в твоей глуши;
 Уйти в твой древний зной и в нежность
 Своей стареющей души...

Но суждено нам разлучиться,
 И через дальние края
 Твой дымный ирис будет сниться,
 Как юность ранняя моя.

Июнь 1909

6

Под зноем флорентийской лени
 Еще беднее чувством ты:
 Молчат церковные ступени,
 Цветут нерадостно цветы.

Так береги остаток чувства,
 Храни хоть творческую ложь:
 Лишь в легком челноке искусства
 От скуки мира уплывешь.

17 мая 1909

Александр Блок

Сиена

В лоне площади пологой
Пробивается трава.
Месяц острый, круторогий,
Башни – свечи божества.

О, лукавая Сиена,
Вся – колчан упругих стрел!
Вероломство и измена –
Твой таинственный удел!

От соседних лоз и пашен
Оградясь со всех сторон,

Острия церквей и башен
Ты вонзила в небосклон!

И томленьем дух влюбленный
Исполняют образа,
Где коварные мадонны
Щурят длинные глаза:

Пусть грозит младенцу буря,
Пусть грозит младенцу враг,
Мать глядится в мутный мрак,
Очи влажные сощура!..

7 июня 1909

Сиенский собор

Когда страшишься смерти скорой,
Когда твои неярки дни, –
К плитам Сиенского собора
Свой натруженный взор склони.

Скажи, где место вечной ночи?
Вот здесь – Сивиллины уста
В безумном трепете пророчат
О воскресении Христа.

Свершай свое земное дело,
Довольный возрастом своим.
Здесь под резцом оцепенело
Всё то, над чем мы ворожим.

Вот – мальчик над цветком и с птицей,
Вот – муж с пергаментом в руках,
Вот – дряхлый старец над гробницей
Склоняется на двух клюках.

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви.

Июнь 1909

Campagna di Roma

<отрывок>

Измученный полудня жаром знойным,
Вошел я внутрь руин, безвестных мне.
Я был объят величьем их спокойным.
Глядеть и слушать в мертвой тишине
Так сладостно!.. Тут целый мир видений!..
То цирк был некогда; теперь он опустел,
Польнь и терн уселись на ступени,
Там, где народ ликующий шумел;
Близ ложи цезарей еще лежали
Куски статуй, курильниц и амфор:
Как будто бы они здесь восседали
Еще вчера, увеселяя взор
Ристанием... но по арене длинной
Цветистый мак пестреет меж травой
И тростником, и розой полевой,
И рыщет ветер, один, что конь пустынный.
Лохмотьями прикрыт, полунагой,
Глаза как смоль и с молнией взгляда,
С чернокудрявой, смуглой головой,
Пасет ребенок коз пугливых стадо.
Трагически ко мне он руку протянул,
«Я голоден, — со злобою зывая. —
Я голоден!..» Невольно я вздохнул
И, нищего и цирк обозревая,
Промолвил: «Вот она — Италия святая!»

1844

После посещения Ватиканского музея

Еще я слышу вопль и рев Лаокоона,
 В ушах звенит стрела из лука Аполлона,
 И лучезарный сам, с дрожащей тетивой,
 Восторгом дышащий, сияет предо мной...
 Я видел их: в земле открытые антики,
 В чертогах дорогих воздвигнутые лики
 Мифических богов и доблестных людей:
 Олимпа грозного властителей священных,
 Весталок девственных, вакханок исступленных,
 Брадатых риторгов и консульских мужей,
 Толпе вещающих с простертыми руками...

Еще в младенчестве любил блуждать мой взгляд
 По пыльным мраморам потемкинских палат.
 Там, в зале царственном, меж пышными столбами,
 Увитыми кругом серебристыми листьями,
 Как часто я стоял и с думой, и без дум
 И с строгой красотой дружил свой юный ум.
 Антики пыльные живыми мне казались,
 Как будто бы и мысль, и чувство в них скрывались...
 Забытые в глуши блистательным двором,
 Казалось, радостно с высоких пьедесталов
 Они внимали шум шагов моих вдоль залов,
 И, властвуя моим младенческим умом,
 Они роднились с ним, как сказки умной няни,
 В пластической красе мифических преданий...

Теперь, теперь я здесь, в отчизне светлой их,
 Где боги меж людей, прияв их образ, жили
 И взору их свой лик бессмертный обнажили.
 Как дальний пилигрим среди святынь своих,
 Среди статуй я стоял... Мне было дико, странно:
 Как будто музыке безвестной я внимал,
 Как будто чудный свет вокруг меня сиял,
 Курился мирры дым и нард благоуханный,
 И некто дивный был и говорил со мной...
 С душой, подавленной восторженной тоской,
 Глядел в смущеньи я на лики вековые,
 Как скифы дикие, пришедшие с Днепра,
 Среди блеска пурпура царьградского двора,
 Пред благолепием маститой Византии,
 Внимали музыке им чуждой литургии...

Тоскана в поэзии и прозе

Все твои, Микель Анджело, сироты,
 Облеченные в камень и стыд,—
 Ночь, сырая от слез, и невинный
 Молодой, легконогий Давид,
 И постель, на которой несдвинутый
 Моисей водопадом лежит,—
 Мощь свободная и мера львиная
 В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
 В площадь льющихся лестничных рек,—
 Чтоб звучали шаги, как поступки,
 Поднял медленный Рим-человек,
 А не для искалеченных нег,
 Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
 И открыты ворота для Ирода,
 И над Римом диктатора-выродка
 Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

Елена Шварц

У Пантеона

Площадь, там где Пантеона
 Лиловееет круглый бок,
 Как гиганта мощный череп,
 Как мигреновый висок,
 Где мулаты разносили
 Розы мокрые и сок —
 Там на дельфинят лукавых
 Я смотрела и ушла
 В сумрак странный Пантеона
 Прямо в глубь его чела.

Неба тихое кипенье
 В смутном солнце января —
 Надо мною голубела
 Пантеонова дыра,

Будто голый глаз циклопа:
 Днем он синий, вечерами
 Он туманится, ночами
 Звезд толчет седой песок.
 Уходила, и у входа
 Нищий кутался в платок
 А слоненка Барберини
 Полдень оседлал, жесток,
 Будто гнал его трофеем
 На потеху римских зим,
 И в мгновенном просветленье
 Назвала его благим —
 Это равнодушие Рима,
 Ко всему, что не есть Рим.

2003

Федор Тютчев

Рим ночью

В ночи лазурной почивает Рим.
 Взошла луна и — овладела им,
 И спящий град, безлюдно-величавый,
 Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ее лучах!
 Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
 Как будто лунный мир и град почивший —
 Всё тот же мир, волшебный, но отживший!..

⟨1850⟩

Валерий Брюсов

На форуме

Не как пришлец на римский форум
 Я приходил — в страну могил,
 Но как в знакомый мир, с которым
 Одной душой когда-то жил.

И, как во сне родные тени,
 Встречал я с радостной тоской
 Базилик рухнувших ступени
 И плиты древней мостовой.

А надо мною, как вершина
 Великих, пройденных веков,
 Венчали арки Константина
 Руину храмов и дворцов.
 Дорог строитель чудотворный,
 Народ Траяна! Твой завет,
 Спокойный, строгий и упорный,
 В гранит и мрамор здесь одет.

Твоих развалин камень каждый
 Напоминает мне — вести
 К мете, намеченной однажды,
 Среди пустынь свои пути.

1908

Николай Гумилев**Рим**

Волчица с пастью кровавой
 На белом, белом столбе,
 Тебе, увенчанной славой,
 По праву привет тебе.

С тобой младенцы, два брата,
 К сосцам стремятся припасть.
 Они не люди, волчата,
 У них звериная масть.

Не правда ль, ты их любила,
 Как маленьких, встарь, когда,
 Рыча от бранного пыла,
 Сжигали они города?

Когда же в царство покоя
 Они умчались, как вздох,
 Ты, долго и страшно воя,
 Могилу рыла для трёх.

Волчица, твой город тот же
 У той же быстрой реки.
 Что мрамор высоких лоджий,
 Колонн его завитки,

И лик Мадонн вдохновенный,
 И храм святого Петра,
 Покуда здесь неизменно
 Зияет твоя нора,

Покуда жёсткие травы
 Растут из дряхлых камней
 И смотрит месяц кровавый
 Железных римских ночей?!

И город цезарей дивных,
 Святых и великих пап,
 Он крепок следом призывных,
 Косматых звериных лап.

Италия, 1912

Осип Мандельштам**Рим**

Поговорим о Риме — дивный град!
 Он утвердился купола победой.
 Послушаем апостольское stedo:
 Несется пыль, и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
 Дванадцатых праздников кануны, —
 И строго-канонические луны —
 Двенадцать слуг его календаря.

На дольный мир глядит сквозь облак хмурый
 Над Форумом огромная луна,
 И голова моя обнажена —
 О, холод католической тонзуры!

1914

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
 И разбрызгавшись, больше не спят
 И, однажды проснувшись, расплакавшись,
 Во всю мочь своих глоток и раковин
 Город, любящий сильным поддакивать,
 Земноводной водою кропят,—

Древность легкая, летняя, наглая,
 С жадным взглядом и плоской ступней,
 Словно мост ненарушенный Ангела
 В плоскоступье над желтой водой,—

Голубой, онелепленный, пепельный,
 В барабанном наросте домов,
 Город, ласточкой купола лепленный
 Из проулков и из сквозняков,—
 Превратили в убийства питомник
 Вы, коричневой крови наемники,
 Итальяские чернорубашечники,
 Мертвых цезарей злые щенки...

8

Весть мощных вод и в веяньи прохлады
Послышится, и в их растущем реве.
Иди на гул; раздвинутся громады,
Сверкнет царица водометов, Треви.

Сребром с палат посыплются каскады;
Морские кони прянут в светлом гневе;
Из скал богини выйдут, гостье рады,
И сам Нептун навстречу Влаге-Деве.

О, сколько раз, беглец невольный Рима,
С молитвой о возврате в час потребный
Я за плечо бросал в тебя монеты!

Свершались договорные обеты:
Счастливого, как днесь, фонтан волшебный,
Ты возвращал святыням пилигрима.

9

Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный;
И светел дух печалью беспечальной,
Весь полнота, какой названья нет.

Не медом ли воскресших полных лет
Он напоен, сей кубок Дня венчальный?
Не Вечность ли свой перстень обручальный
Простерла Дню за гранью зримых мет?

Зеркальному подобна морю слава
Огнистого небесного расплава,
Где тает диск и тонет исполин.

Ослепшими перстами луч ощупал
Верх пинии, и глаз потух. Один,
На золоте круглится синий Купол.

Вячеслав Иванов

В Колизее

Great is their love, who love in sin and fear. Byron
Велика тех любовь, кто любят во грехе и страхе. Байрон

День влажнокудрый досиял,	Меж глыб, чья вечность роковая
Меж туч огонь вечерний сея.	В грехе святилась и крови,
Вкруг помрачался, вкруг зиял	Дух безнадежный предавая
Недвижный хаос Колизея.	Преступным терниям любви,

Глядели из стихийной тьмы	Стеснясь, как два листа, что мчит,
Судеб безвременные очи...	Безвольных, жадный плен свободы,
День бурь истомных к прагу ночи,	Доколь их слившей непогоды
День алчный провожали мы -	Вновь легкий вздох не разлучит...

Между 1893 и 1902

Римские сонеты

(1924—1925)

1

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним "Ave, Roma"*
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.

Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.

И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла.

И помнит, в ласке золотого сна,
Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена.

*Приветствую тебя, о Рим (лат.).

4

Окаменев под чарами журчанья
 Бегущих струй за полные края,
 Лежит, полузатоплена, ладья;
 К ней девушек с цветами шлет Кампанья.

И лестница, переступая зданья,
 Широкий путь узорами двоя,
 Несет в лазурь двух башен остря
 И обелиск над Площадью ди Спанья.

Люблю домов оранжевый загар,
 И людные меж старых стен теснины,
 И шорох пальм на ней в полдневный жар;

А ночью темной вздохи каватины
 И под аккорды бархатных гитар
 Бродячей стрекотанье мандолины.

5

Двустворку на хвостах клубок дельфиний
 Разверстой вынес; в ней растет Тритон,
 Трубит в улитку; но не в зычный тон —
 Струя лучом пронзает воздух синий.

Средь зноя плит, зовущих облак пиний,
 Как зелен мха на демоне хитон!
 С природой схож резца старинный сон
 Стихийною причудливостью линий.

Бернини,— снова наш,— твоей игрой
 Я веселюсь, от Четырех фонтанов
 Бредя на Пинчю памятной горой,

Где в келью Гоголя входил Иванов,
 Где Пиранези огненной иглой
 Пел Рима грусть и зодчество титанов.

6

Через плечо слагая черепах,
 Горбатых пленниц, на мель плоской вазы,
 Где брызжутся на воле водолазы,
 Забыв, неповоротливые, страх,—

Танцуют отроки на головах
 Курносых чудищ. Дивны их проказы:
 Под их пятой уроды пучеглазы
 Из круглой пасти прыщут водный прах.

Их четверо резвятся на дельфинах.
 На бронзовых то голенях, то спинах
 Лоснится дня зелено-зыбкий смех.

И в этой неге лени и приволий
 Твоих ловлю я праздничных утех,
 Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.

7

Спит водоём осенний, окроплён
 Багрянцем нищим царственных отрепий.
 Средь мхов и скал муж со змеей, Асклепий
 Под аркою глядит на красный клён.

И синий свод, как бронзой, окаймлён
 Убранством сумрачных великолепий
 Листвы, на коей не коснели цепи
 Мертвящих стуж, ни снежных блеск пелён.

Взирают так, с улыбкою печальной,
 Блаженные на нас, как на платан
 Увядший солнце. Плещет звон хрустальный:

Струя к лучу стремится зыбучий стан.
 И в глади опрокинуты зеркальной
 Асклепий, клён, и небо, и фонтан.